

Сергей Юльевич Витте

Воспоминания. Том 3



Сергей Витте
Воспоминания. Том 3

«Public Domain»

1911

Витте С. Ю.

Воспоминания. Том 3 / С. Ю. Витте — «Public Domain»,
1911

«17 октября последовал манифест „об усовершенствовании государственного порядка“. Манифест этот, который, какова бы ни была его участь, составит эру в истории России, провозгласил следующее...»

Содержание

Глава тридцать четвертая	5
Глава тридцать пятая	36
Глава тридцать шестая	47
Глава тридцать седьмая	57
Глава тридцать восьмая	77
Конец ознакомительного фрагмента.	86

Сергей Юльевич Витте

Воспоминания. Том 3

Глава тридцать четвертая

Манифест 17 октября

17 октября последовал манифест «об усовершенствовании государственного порядка». Манифест этот, который, какова бы ни была его участь, составит эру в истории России, провозгласил следующее:

«Смуты и волнения в столицах и во многих местностях империи нашей великою и тяжелою скорбью преисполняют сердце Наше. Благо Российского Государя неразрывно с благом народным и печаль народная Его печаль. От волнений, ныне возникших, может явиться глубокое нестроение народное и угроза целости и единству Державы Всероссийской. Великий обет Царского служения повелевает Нам всеми силами разума и власти Нашей стремиться к скорейшему прекращению столь опасной для государства смуты. Повелев надлежащим властям принять меры к устранению прямых проявлений беспорядка, бесчинств и насилий в охрану людей мирных, стремящихся к спокойному выполнению лежащего на каждом долга, Мы, для успешнейшего выполнения общих предназначаемых Нами к умиротворению государственной жизни мер, признали необходимым объединить деятельность высшего правительства.

На обязанность правительства возлагаем Мы выполнение непреклонной Нашей воли:

1) Даровать населению незыблемые основы гражданской свободы на началах действительной неприкосновенности личности, свободы совести, слова, собраний и союзов.

2) Не останавливая назначенных выборов в Государственную Думу, привлечь теперь же к участию в Думе, в мере возможности, соответствующей краткости остающегося до созыва Думы срока, те классы населения, которые ныне совсем лишены избирательных прав, предоставив засим дальнейшее развитие начала общего избирательного права вновь установленному законодательному порядку (т. е., согласно закону 6 августа 1905 года, Дума и Государственный Совет).

3) Установить, как незыблемое правило, чтобы никакой закон не мог воспринять силу без одобрения Государственной Думы, и чтобы выборным от народа обеспечена была возможность действительного участия в надзоре за закономерностью действий поставленных от Нас властей.

Призываем всех верных сынов России вспомнить долг свой перед родиной, помочь прекращению неслыханной смуты и вместе с Нами напечь все силы к восстановлению тишины и мира на родной земле».

Одновременно с этим манифестом был опубликован доклад мой, как председателя комитета министров, которому, т. е. мне, Государь Император несколько дней ранее повелел принять меры к объединению деятельности министров впредь до утверждения законопроекта о совете министров. Законопроект этот под заглавием «о мерах к укреплению единства деятельности министров и главных управлений» был опубликован лишь 19 октября и в тот же день я был назначен председателем вновь созданного совета министров. Законом этим в сущности создавался кабинет министров, председателем коего является премьер-министр с правом влияния на всех министров, за исключением министров: военного, морского и, в некоторой степени, министра иностранных дел.

Доклад этот с Высочайшею надписью «принять к руководству», последовавшею того же 17 октября, заключался в следующем:

«Волнение, охватившее разнообразные слои русского общества, не может быть рассматриваемо, как следствие частичных несовершенств государственного и социального устройства, или только, как результат организованных крайних партий.

Корни того волнения залегают глубже. Они в нарушенном равновесии между идейными стремлениями русского мыслящего общества и внешними формами его жизни. Россия переросла форму существующего строя и стремится к строю правовому на основе гражданской свободы.

В уровень с одушевляющею благоразумное большинство общества идею и следует поставить внешние формы русской жизни.

Первую задачу для правительства должно составлять стремление к осуществлению теперь же, впредь до законодательной санкции через Государственную Думу, основных элементов правового строя: свободы печати, совести, собраний, союзов и личной неприкосновенности. Укрепление этих важнейших основ политической жизни общества должно последовать путем нормальной законодательной разработки, наравне с вопросами, касающимися уравнения перед законом всех русских подданных независимо от вероисповедания и национальности. Само собой разумеется, предоставление населению прав гражданской свободы должно сопровождаться законным ее ограничением для твердого ограждения прав третьих лиц, спокойствия и безопасности государства.

Следующею задачею для правительства является установление таких учреждений и законодательных норм, которые соответствовали бы выяснившейся политической идее большинства русского общества и давали бы положительную гарантию в неотъемлемости дарованных благ гражданской свободы.

Задача эта сводится к устройению правового порядка.

Соответственно целям водворения в государстве спокойствия и безопасности, экономическая политика правительства должна быть направлена ко благу народных широких масс, разумеется, с ограждением имущественных и гражданских прав, признаваемых во всех культурных странах.

Намечаемые здесь основания правительственной деятельности для полного осуществления своего, потребуют значительной законодательной работы и последовательного административного устройства.

Между постановкою принципа и претворением его в законодательные нормы, а в особенности, проведением этих норм в нравы общества и приемы правительственных агентов, не может не пройти некоторое время.

Начала правового порядка воплощаются, лишь поскольку население получает к ним привычку – гражданский навык. Сразу подготовить страну со 135 миллионным разнородным населением и обширнейшею администрациею, воспитанными на иных началах, к восприятию и усвоению норм правового порядка, не под силу никакому правительству. Вот почему, правительству далеко недостаточно выступить с одним только лозунгом гражданской свободы. Чтобы водворить в стране порядок, нужны труд и неослабевающая последовательность. Для осуществления этого, необходимыми условиями являются однородность состава правительства и единство преследуемых им целей. Но и министерство, составленное, по возможности, из лиц одинаковых политических убеждений, должно будет приложить неимоверные старания, дабы одушевляющая его работу идея сделалась идеею всех агентов власти, от высших до низших.

Заботою правительства должно являться практическое водворение в жизнь главных стимулов гражданской свободы. Положение дела требует от власти приемов, свидетельствующих об искренности и прямоте ее намерений. С этой целью правительство должно себе

поставить непоколебимым принципом полное невмешательство в выборы в Государственную Думу и искреннее стремление к осуществлению мер, предрешенных указом 12 декабря.

В отношении к будущей Государственной Думе заботою правительства должно быть поддержание ее престижа, доверие к ее работам и обеспечение подобающего сему учреждению значения.

Правительство не должно являться элементом противодействия решениям Думы, поскольку решения эти не будут коренным образом расходиться с величием России, достигнутым тысячелетней ее историей. Правительство должно следовать мысли высказанной в Высочайшем манифесте об образовании Государственной Думы, что положение о Думе подлежит дальнейшему развитию в зависимости от выяснившихся несовершенств и запросов времени.

Правительству надлежит выяснить и установить эти запросы, формулировать гарантию гражданского правопорядка, руководствуясь, конечно, господствующею в большинстве общества идеею, а не отголосками, хотя бы и резко выраженных требований отдельных кружков, удовлетворение коих невозможно уже потому, что они постоянно меняются. Но удовлетворение желаний широких слоев общества путем той или иной формулировки гражданского правопорядка необходимо.

Весьма важно преобразовать Государственный Совет на началах видного участия в нем выборных элементов, ибо только при этом условии возможно установить нормальные отношения между этим учреждением и Государственной Думой.

Не перечисляя дальнейших мероприятий, которые должны находиться в зависимости от обстоятельств, я полагаю, что деятельность власти во всех ступенях должна быть охвачена следующими руководящими принципами.

1) Прямота и искренность в утверждении на всех поприщах, даруемых населению благ гражданской свободы и установление гарантий сей свободы.

2) Стремление к устранению исключительных законоположений.

3) Согласование действий всех органов правительства.

4) Устранение репрессивных мер против действий, явно не угрожающих обществу и государству и

5) Противодействие действиям, явно угрожающим обществу и государству, опираясь на закон и в духовном единении с благоразумным большинством общества.

Само собой разумеется, осуществление поставленных выше задач возможно лишь при широком и деятельном содействии общества и при соответствующем спокойствии, которое бы позволило направить силы к плодотворной работе.

Следует верить в политический такт русского общества, так как немислимо, чтобы русское общество желало анархии, угрожающей, помимо всех ужасов борьбы, расчленением государства».

Оба вышеизложенные акта появились одновременно и были опубликованы рядом. Удивительно, что ни тогда, ни до настоящего времени не возник вопрос, почему именно явились два акта, которые в конечных своих тенденциях однородны, которые проникнуты одним и тем же духом, но которые практически и по объему содержания далеко не одинаковы и мало между собой согласованы. Почему не появился один акт, который содержал бы те же идеи, но совершенно согласованные. Ответом на этот вопрос послужит ниже приведенная записка под заглавием «справка об манифесте 17 октября 1905 года». История этой справки такова:

Когда я был вынужден в апреле 1906 года оставить пост председателя совета министров, и затем в июле уехал за границу, то до меня доходили слухи, что в дворцовых сферах говорят, что я вырвал у Его Величества манифест 17 октября, что я вынудил Его дать этот

акт. Эти слухи находились в соответствии с очевидным паролем, данным черносотенной прессе, («Русское Знамя» Дубровина, «Московские Ведомости» Грингмута и пр.) ежедневно уверять, что я изменник, масон, подкуплен жидами и проч. Известно, что пресса эта питается, главным образом, из дворцовых сфер и, между прочим, из благ Императрицы Александры Феодоровны.

В сущности говоря, из казны, так как первоначальный источник всех почти этих средств казна, т. е., достояние преимущественно малосостоятельных классов. Затем, мне сделалось известным, что и Императрица Александра Феодоровна считает возможным высказать, что манифест 17 октября я вырвал у Ее Августейшего супруга, и что Августейший супруг сам этого не изволит высказывать, но своим молчанием это в известной степени подтверждает, а так как Государь одновременно во всех проявлениях начал ко мне относиться так, как будто я совершил в отношении Государя какой-либо некорректный поступок, то этим самым Его Величество еще в большей степени как бы подтверждал болтовню своей свиты и неосторожные фразы Императрицы.

Я употребляю слово «неосторожные», не считая возможным для себя употреблять более правильное определение. Люди, которые не понимают, что распространение причем заведомое, слухов, что неограниченный Самодержец подписывает самой величайшей важности акты, потому что у Него их вырывают, начинает ужасные и позорные войны, потому что Его уверяют, что мы «разнесем макак», самолично ребячески распоряжается военными действиями, потому что Его уверяют, что Он превосходный военный и моряк – очевидно, хотя и желая оградить Монарха, наносят самый ужасный удар Его неограниченной самодержавности.

Люди эти очень не умные и притом подлые, хотя и титулованы. Изложенные обстоятельства вынудили меня в начале января 1907 года составить краткую «справку об манифесте 17 октября 1905 года». Справку эту я предварительно дал прочесть управляющему во время моего премьерства делами совета министров, ныне сенатору, Вуичу, который был в курсе событий и просил сказать, нет ли какой-нибудь неточности, хотя она была составлена в согласовании с краткими воспоминаниями Вуича по поводу этих событий, находящимися в моем архиве. Вуич подтвердил точность этой справки. Затем, я послал ее к военному министру Редигеру, единственному из нынешних министров, бывшему министром и в моем кабинете. Он сделал одно редакционное изменение, которое мною и было принято (его письмо по этому предмету находится также в моем архиве). Затем, эту справку я послал 30 января 1907 года при письме министру Двора барону В. Б. Фредериксу, как лицу, посвященному во многие перипетии того времени, на случай, если ему угодно будет указать мне какие-либо неточности, которые невольно могли вкратиться в эту справку, объясняя, что я не счел со своей стороны уместным представить эту справку Государю Императору только потому, что не находил возможным беспокоить Его Величество. В заключение в письме говорится: «Не откажите вернуть мне прилагаемую справку с Вашими замечаниями».

Через несколько дней после отсылки этого письма, я виделся с директором канцелярии министра Двора генералом Мосоловым, который мне сказал, что присланная мною справка найдена совершенно правильною, и что он готовит в этом смысле ответ. Затем, прошло еще несколько дней и генерал Мосолов мне передал, что он вручил проект ответного письма министру Двора и посоветовал ранее, чем ответить, показать справку Его Величеству, и что министр так и поступит. Прошло более двух недель и справка не возвращалась от Государя. Управляющий кабинетом Его Величества генерал князь Оболенский мне сказал, что Его Величество, продержав эту справку две недели, возвратил ее министру и сказал, что справка составлена верно. Тем не менее, министр продолжал молчать и только 25 марта при свидании со мною на мой вопрос о том, когда он ответит мне по поводу справки, сказал, что присланную, справку «находит составленной совершенно правильно», что в ней пропущено

лишь то, что будто бы, когда он был у меня 16 октября вечером, то он между прочим сказал, что Трепов находит, что лучше сделать какое то изменение в манифесте. Я этого не помню. Князь Оболенский, который все время присутствовал при нашем разговоре, также этого не помнит, но это и не имеет никакого значения. Затем, барон Фредерикс уклонился дать письменный ответ.

(Вариант: «Вынужден я был составить эту справку по следующему поводу.

По понятным причинам я не считал корректным кому бы то ни было рассказывать, как произошло 17 октября. Так прошло более года, но дворцовая камарилья в это время усиленно распространяла, что я вырвал у Государя 17-ое октября. Делали они это для того, чтобы натравлять против меня хулиганов союза русского народа. Они и достигли своей цели, т. к. в сущности союз русского народа вместе с агентами правительства вложил ко мне в дом адские машины и от них шли приготовленные мне Казанцевым бомбы.

В эти разы, как и во многих других случаях, когда я подвергался страшной опасности, Бог меня спас. Наконец, до меня начали доходить слухи, что Императрица Александра Феодоровна также изволит высказываться, что я вырвал манифест 17 октября. Вследствие сего я составил записку, которую министр Двора передал Государю. Государь держал ее у себя дней 15 и затем сказал барону Фредериксу: „записка составлена графом Витте правильно, но не пишите ничего ему об этом, а скажите ему на словах, что факты, изложенные в записке, изложены верно“.

В тот же день, когда ему это сказал Государь, барон Фредерикс передал это князю Н. Д. Оболенскому, а последний мне. Как это вам нравится в устах Самодержавного Императора?.. Подумаешь, и это сын благороднейшего и правдивейшего венценосца Александра III...»).

Справка эта такова:

Справка о манифесте 17 октября 1905 года

«В видах вспыхнувшей в сентябре и начале октября 1905 года, после продолжавшегося уже несколько лет сильного брожения и политических убийств, резкой смуты во всех частях России, в особенности в Петербурге и некоторых больших городах, 6 октября 1905 года председатель комитета министров граф Витте всеподданнейше испрашивал, не угодно ли будет Его Величеству принять его и выслушать соображения о современном крайне тревожном положении. Это он сделал по настоятельной просьбе председателя Государственного Совета графа Сольского.

8 октября Его Величество соизволил написать графу Витте, что Он сам имел в виду его вызвать, чтобы переговорить о настоящем положении вещей, и повелел прибыть на другой день 9-го октября к 6-ти часам вечера.

9-го октября председатель комитета имел счастье явиться к Его Величеству и представить наскоро составленную всеподданнейшую записку, в которой он излагал свой взгляд на положение дела. Вместе с тем он всеподданнейше доложил Его Величеству, что, по его мнению, может быть два выхода: или стать на путь, указываемый в записке, в то время словесно им доложенной, или облечь соответствующее лицо (диктатора) полновластием, дабы с непоколебимой энергией путем силы подавить смуту во всех ее проявлениях. Для этой задачи нужно выбрать человека решительного и военного. Первый путь представлялся бы более

соответственным, но очень может быть, что такое мнение ошибочно, а потому было бы желательно обсудить этот вопрос в совещании с другими государственными деятелями и с лицами Царской семьи, коих дело это существенно может коснуться. Его Величество, милостиво выслушав гр. Витте, не соизволил высказать своего Высочайшего мнения.

По возвращении из Петергофа граф Витте пересмотрел совместно с временно управляющим в то время делами комитета министров Н. И. Вуичем переданную им Его Величеству наскоро составленную записку, сделал в ней некоторые исправления и добавил в конце, что может быть есть другой исход – идти против течения, но в таком случае это надо сделать решительно и систематически, что он сомневается в успехе такого исхода, но, может быть, он ошибается; во всяком случае, за выполнение того или другого плана может взяться только человек, который в него верит.

На другой день, 10 октября в час дня граф Витте вновь имел счастье явиться к Его Величеству и, в присутствии Государыни Императрицы Александры Феодоровны, подробно изложил все свои соображения, объясняющие записку в новой ее редакции, причем словесно доложил еще раз о другом возможном выходе, о котором докладывал Государю 9-го октября. Их Величества не изволили высказать своего мнения, но Его Императорское Величество соизволил заметить, что, может быть, было бы лучше основание записки опубликовать манифестом.

В течение 12 и 13 октября граф Витте не имел никаких сведений из Петергофа. Приблизительно в это время в одном из заседаний у графа Сольского, между прочим, шла речь о крайне опасном положении дела вследствие брожения, переходящего в восстание, причем генерал-адъютант Чихачев и граф Пален высказывали решительное мнение, что нужно прежде всего подавить всякое проявление смуты силою оружия. Граф Витте не преминул сообщить об этом всеподданнейшей запиской Его Величеству, причем ходатайствовал выслушать сановников, высказывающих такое убеждение. Графа Витте затем генерал-адъютант Чихачев спрашивал, не по его ли инициативе Государю Императору благоугодно было его вызывать, на что он ответил, что этого не знает, но что действительно счел своим долгом доложить Государю о сложившемся у некоторых сановников определенном взгляде, как нужно при данных обстоятельствах поступить, и что по его мнению было бы весьма полезно, если бы Его Величеству благоугодно было их выслушать.

Графу Витте говорили, что 11 и 12 октября его программа подверглась обсуждению. 13-го граф Витте получил от Его Величества следующую телеграмму: „Впредь до утверждения закона о кабинете поручаю Вам объединить деятельность министров, которым ставлю целью восстановить порядок повсеместно. Только при спокойном течении государственной жизни возможна совместная созидательная работа правительства с имеющими быть свободно wybranными представителями народа моего“.

Вследствие этой телеграммы граф Витте 14 числа утром снова Съездил в Петергоф и всеподданнейше доложил, что одним объединением министров, смотрящих в разные стороны, смуту успокоить нельзя, и что, по его убеждению, обстоятельства требуют принятия решительных мер в том или другом направлении. При этом, вследствие сделанного Его Величеством замечания, что было бы целесообразнее изложить основания

записки в манифесте, граф Витте представил Его Величеству краткий всеподданнейший доклад, резюмирующий записку, в начале коего указано, что доклад этот составлен по приказанию и указаниям Его Величества, и который, в случае если Его Величество соизволит его одобрить, подлежал бы Высочайшему утверждению; что же касается манифеста, то граф Витте докладывал что манифест, который оглашается во всех церквях, есть такой акт, в котором неудобно входить в надлежащие подробности; с другой же стороны, опубликование Высочайше утвержденного всеподданнейшего доклада будет только выражать принятие Государем изложенной в докладе программы, что будет гораздо осторожнее, ибо в таком случае предложенные им меры лягут на его, графа Витте, ответственность и не свяжут Его Величество.

В это время забастовка фабричных рабочих в Петербурге и во многих городах, а равно служащих значительной части железных дорог и других учреждений была уже в полной силе, так что Петербург оставался без освещения многих торговых заведений, движения конок, телефонов и железнодорожного сообщения. Такое положение дела, в виду вышеприведенной телеграммы Государя Императора, понудило графа Витте собрать у себя совещание некоторых министров, в том числе военного, генерала Редигера, товарища министра внутренних дел и петербургского генерал-губернатора, Трепова, министра путей сообщения, князя Хилкова, чтобы обсудить, какие меры можно принять для восстановления железнодорожного сообщения Петербурга, хотя с ближайшими окружными пунктами. На этом совещании военный министр и генерал Трепов, которому был подчинен петербургский гарнизон, заявили, что в Петербурге достаточно войск для того, чтобы подавить вооруженное восстание, если таковое проявится в Петербурге и в ближайших резиденциях Государя, но что в Петербурге нет соответствующих частей, которые могли бы восстановить движение хотя бы от Петербурга до Петергофа. Вообще военный министр заявил, что в действующую армию командировано не только значительное число войсковых единиц, но много офицеров и нижних чинов из состава частей, оставшихся в Европейской России; эти части были в свое время пополнены чинами запаса, но среди последних началось всеобщее брожение вследствие задержания их на службе после заключения мира. Это обстоятельство, в связи с продолжительным привлечением войск к несению полицейской службы, в значительной степени расстроило войска, оставшиеся внутри Империи.

14-го к вечеру графу Витте было дано знать по телефону из Петергофа князем Орловым, чтобы он явился на совещание к Его Величеству 15 октября, к 11-ти часам утра, причем ему было предложено привезти с собою проект манифеста, так как необходимо „чтобы все исходило лично от Государя, и нужно вывести намеченные в его докладе меры из области обещаний в область Государем даруемых фактов“.

Хотя граф Витте считал более осторожным ограничиться Высочайшим утверждением его всеподданнейшего доклада и надеялся, что, может быть, манифеста и не потребуется, но все же, чувствуя себя в тот вечер нездоровым, просил находившегося у него в это время члена Государственного Совета князя А. Д. Оболенского к утру набросать проект манифеста.

15-го октября утром граф Витте снова отправился в Петергоф, причем просил князя Оболенского и управляющего делами комитета министров поехать с ним. На том же пароходе ехал и министр Двора барон Фредерикс. Князь Оболенский прочел в присутствии всех этих лиц набросок им составленного проекта манифеста; граф Витте сделал некоторые замечания и, так как в то время подошли к Петергофу, то он просил князя Оболенского и Вуича попытаться, на основании бывших на пароходе разговоров по поводу наброска князя Оболенского, составить более или менее окончательную редакцию манифеста, а сам вместе с бароном Фредериксом отправился во дворец. Там он застал Великого Князя Николая Николаевича и генерал-адъютанта Рихтера. В 11 часов Его Величество принял этих четырех лиц. Его Величество повелел графу Витте прочесть, ранее упомянутый, его всеподданнейший доклад. Затем граф Витте доложил, что по его крайнему разумению, при настоящих обстоятельствах могут быть два исхода, или диктатура, или конституция, на путь которой Его Величество в сущности уже вступил манифестом 6 августа и сопровождавшими его законами.

Его доклад или программа высказывается за второй путь, который в случае его утверждения должен повести к мероприятиям, подлежащим проведению в законодательном порядке и расширяющим закон 6 августа, приводя Россию к конституционному устройству. Во время чтения доклада, с разрешения Государя Императора, Великий Князь Николай Николаевич задавал графу Витте целый ряд вопросов, на которые граф Витте давал подробные разъяснения, причем доложил, что он не рассчитывает, чтобы после жесточайшей войны и столь сильной смуты могло быстро наступить успокоение, но что второй путь казался бы приведет скорее к такому результату.

По окончании доклада Его Величеству угодно было спросить графа Витте, изготовил ли он манифест. Граф Витте доложил, что предварительный проект манифеста был изготовлен, что он с ним ознакомился во время переезда в Петергоф, ныне же исправляется, но что по его мнению было бы удобнее ограничиться утверждением прочитанного им всеподданнейшего доклада. Его Величество соизволил в 1 час дня отпустить присутствующих и повелел собраться к 3-м часам, а графу Витте привезти проект манифеста.

В 3 часа заседание возобновилось. Продолжался обмен мыслей по поводу доклада, затем граф Витте прочел проект манифеста. Присутствовавшие не сделали никаких возражений. Затем Государю Императору благоугодно было отпустить присутствующих.

16 октября к вечеру барон Фредерикс дал знать гр. Витте, что он к нему придет переговорить по поводу манифеста. После полуночи барон Фредерикс приехал вместе с директором канцелярии генералом Мосоловым, и передал графу Витте, что Его Величество независимо от тех лиц, которые присутствовали вчера на заседании, советовался также с другими лицами, и что члены Государственного Совета Горемыкин и Будберг составили два проекта манифеста, с которыми Его Величество поручил его ознакомить. Граф Витте прежде всего спросил, известно ли обо всем происходящем генералу Трепову, который ныне держит в своих руках всю полицию Империи, на котором лежит ответственность за внешний порядок в стране; всякая крупная мера, если он, генерал Трепов, заранее в нее не будет

посвящен, может иметь последствием неблагоприятные явления. Барон Фредерикс ответил, что он потому и опоздал, что был у генерала Трепова, который во все это дело посвящен. Затем барон Фредерикс дал графу Витте прочесть новые проекты (Проекты затем были взяты бароном Фредериксом и более не удалось их достать.). Граф Витте заметил, что проект на который было обращено его внимание, как наиболее подходящей, не может быть им принят по двум причинам:

Во-первых, потому, что он в отличие от проекта, им переданного, прямо провозглашает, что Его Величество со дня опубликования манифеста дарует все свободы, тогда как в его проект Его Величество лишь повелевает правительству выполнить неперемнную Его волю даровать эти свободы, что предполагает еще последующую работу правительства; во-вторых, что в манифесте пропущены другие существенные меры, которые значатся в его проекте всеподданнейшего доклада, и что объявление манифеста, не согласного с одновременно опубликованным докладом, породить сразу сомнения в силе и крепости тех начал, которые в этом докладе изложены.

По этим причинам он просил барона Фредерикса доложить Его Величеству, что по его мнению, издавать манифест, как он это уже несколько раз имел честь докладывать Его Величеству, не нужно, что достаточно и более осторожно обнародовать лишь его Высочайше утвержденный всеподданнейший доклад. На это барон Фредерикс ответил, что вопрос о том, что реформа, предположенная всеподданнейшим докладом, должна быть возведена народу манифестом, решен бесповоротно. Выслушав это сообщение, гр. Витте просил доложить Его Величеству, что нужно поручить место председателя совета тому лицу, которого программа будет принята, что он чувствует, что в этом деле у Его Величества существует некоторое сомнение в правильности его взглядов, что при таком положении вещей было бы целесообразнее оставить самую мысль о назначении его первым министром, а для объединения действий министров, в случае окончательного отклонения предположения о назначении диктатора, для успокоения смуты силою, избрать другое лицо, программа которого была бы признана более целесообразной.

Если прочитанные им проекты манифестов признаются целесообразными, то по его мнению одного из авторов их и следовало бы назначить председателем совета. В заключение граф Витте также просил доложить Его Величеству, о чем он имел счастье и ранее докладывать Государю, что если его деятельность нужна, то он готов послужить общему делу, но на второстепенном посту, хотя бы губернатора какой бы то ни было губернии.

На другой день, 17 октября, граф Витте снова был вызван в Петергоф, и приехав туда, он отправился прямо к барону Фредериксу. Барон передал графу Витте, что решено принять его проект манифеста и утвердить всеподданнейший доклад им представленный, что Великий Князь Николай Николаевич категорически поддерживает такое решение и докладывал о невозможности, за недостатком войск, прибегнуть к военной диктатуре.

В 6-ом часу граф Витте и барон Фредерикс приехали во дворец, причем барон Фредерикс привез с собою, переписанный в его канцелярии, манифест. Во дворце был Великий Князь Николай Николаевич. Его Величеству благоугодно было в их присутствии подписать манифест и

утвердить всеподданнейший доклад графа Витте. Оба эти документа в тот же день были обнародованы с ведома генерала Трепова».

После того, как я передал приведенную выше справку барону Фредериксу, я ее показал человеку, к которому питаю глубокое уважение, графу Палену, министру юстиции при Императоре Александре II, до процесса Веры Засулич. Граф Пален просил разрешения моего показать ее и генерал-адъютанту Рихтеру. Через несколько дней генерал-адъютант Рихтер вернул ее мне при записке, в которой не выразил никакого мнения.

На другой день я его встретил в Государственном Совете и спросил, не нашел ли он в справке какой-либо неточности, на что он мне ответил, что справка составлена совершенно точно. Я дал тогда же эту справку для прочтения Великому Князю Владимиру Александровичу. Великий Князь мне ее вернул через несколько дней и тогда же передал графу И. И. Толстому, который у него совершенно домашний человек, следующее (письмо его находится в моем архиве): «На следующий день по получении вашей записки Великий Князь обедал в клубе, где были Фредерикс и Мосолов. Так как о них упоминается в Вашей справке, то он позвал Мосолова в отдельную комнату, объяснил ему, что получил от вас записку, и спросил его, что он знает о ней. На это Мосолов ему ответил, что записку вы через барона Фредерикса послали Государю, от которого желали получить подтверждение изложенного, но что Государь не соизволил на сие, и что Фредерикс только словесно подтвердил ее правильность в общем».

Ранее составления этой справки по поводу событий с начала октября до 17-го 1905 года мне передали свои воспоминания по событиям этого времени два лица, заслуживающие полного доверия и близко стоящие к сказанным событиям; это управляющий делами совета министров, Н. И. Вуич, ныне сенатор, женатый на единственной дочери В. К. Плеве, и потому человек, бывший ему близким, и князь Н. Д. Оболенский, генерал свиты Его Величества, управлявший в то время и ныне управляющий кабинетом Его Величества, в сущности товарищ министра Двора. Князь Оболенский был самый близкий человек к Императору, был любимый из молодых флигель-адъютантом отца Его, Императора Александра III, он совершил путешествие на Дальний Восток, с Императором Николаем II, в бытность Его наследником. Князь Н. Д. Оболенский пользовался большим вниманием Императрицы Александры Феодоровны, так как, когда она приезжала в Петербург в качестве Алих Дармштадтской на смотрины и была забракована, как невеста Наследника, то единственный кавалер, который по сему случаю от Нее не отвернулся, а, напротив, удвоил к Ней внимание, был князь Николай Дмитриевич Оболенский. Будучи близко знаком со мною и зная все, что делается при дворе, т. е. в дворцовых лакейских (для высокопоставленных придворных лакеев, титулованных и мундирных), он, конечно, знал все, что происходило в это время вокруг Государя. С этой точки зрения, его краткие воспоминания имеют цену. Сказанные воспоминания при сем прилагаю.

Записка Н. И. Вуича

21 сентября уехал на Кавказ управляющей делами комитета министров, барон Нольде, вследствие чего во временное исправление должности его вступил помощник управляющего, Вуич, на обязанность которого упал поэтому и доклад всех комитетских дел председателю комитета, графу С. Ю. Витт. Граф был все время чрезвычайно озабочен и несколько раз в разговоре возвращался к тому, насколько плохо внутреннее наше положение, и что представляется неизбежным, или ввести повсюду военное положение, или даровать настоящую конституцию. При этом С. Ю. Витте высказывал, что принятие каких-нибудь разрозненных мер не даст благоприятных результатов, в частности же репрессии против печати бесполезны, так как немедленно усилятся подпольная пресса.

6 октября председатель поручил составить всеподданнейший доклад в том смысле, чтобы впредь, до рассмотрения совещанием графа Сольского проекта о преобразовании комитета министров, установлены были временные полномочия председателя комитета по объединению деятельности министров, причем С. Ю. просил с составлением этого доклада поторопиться. На другой день председатель занимался подробным рассмотрением представленного ему проекта, 8-го же октября, вечером, передал для прочтения и для распоряжений о переписке к следующему утру – обширную записку, заключающую в себе разъяснение его взгляда на способы успокоения страны, с выводом о необходимости перехода к конституционному образу правления. На следующий день, утром, записка, переписанная, была представлена председателю. В происшедшем при этом разговоре, на замечание помощника управляющего, с какою быстротою события привели к предположению о введении конституции, С. Ю. с горячностью заметил, что за последнее время последовали Мукден, Цусима; что закрыто было сельскохозяйственное совещание, к которому имели отношение либеральные элементы, теперь ищущие иного выхода; что он пришел к убеждению о совершенной неотвратимости предлагаемого им средства. Затем председателем дано было поручение составить краткий по этой записке всеподданнейший доклад, который мог бы быть, в случае надобности, напечатан.

В течение 9 октября записка была председателем несколько изменена (В тот же день она была вновь переписана и в 2-х экземплярах представлена председателю.) во вступительной части включением указания, что доклад составлен по приказанию и указаниям Его Величества. Вместе с тем, в конце записки было добавлено, что, может быть, есть и другой исход – идти против течения, но это надо сделать решительно и систематически; С. Ю. сомневается в успехе этого, но он может и ошибаться; во всяком случае, за выполнение всякого плана может взяться только человек, который в него верит. 10 октября председатель ездил к Государю и, вероятно, тогда же оставил Его Величеству свою записку.

После того занимались уже только кратким всеподданнейшим докладом, он еще переделывался и 13 октября, вечером, окончательно был прочитан председателем. С. Ю. сказал, что едет на другой день к Государю

и пригласил Вуича его сопровождать на пароходе. 14 октября погода была немного скверная, снег с дождем, и пароход изрядно качало. Дорогою перечитывали еще раз доклад и С. Ю. говорил, что он не может принять должность председателя совета, если доклад этот не будет утвержден.

Говорили также о постыдности положения, при котором верноподданные должны добираться к своему Государю чуть ли не вплавь. С. Ю. поехал с пристани прямо во дворец, где оставался до часу, затем приехал завтракать в приготовленное помещение и говорил, что мог настоять на немедленном утверждении доклада, но не захотел вырвать согласие, и потому ему предложили еще раз вернуться во дворец.

Со второй аудиенции С. Ю. возвратился на пароходе после пяти часов, так что назад ехали в темноте. Положение оставалось тоже самое и решение отложено до завтра. 15 октября опять поехали около 9-ти часов утра. На пароходе был барон Фредерикс и князь Алексей Оболенский; оказалось, что князь привез с собой проект манифеста, о котором до того от председателя ничего слышать не приходилось.

Стали читать проект. Вступление весьма красноречивое, но председатель говорит: «да это не существенно, а вот что у вас вышло в пунктах?» Первый пункт оказался о свободах. Предполагалось сказать вроде того, что на правительство возлагается обязанность немедленно выработать и в определенный срок представить Государю проекты законов о свободе собраний и проч. Далее следовал пункт о расширении выборных прав, а затем говорилось о рабочих. От последнего пункта князь тут же немедленно, в виду замечания председателя, отказался.

Стали затем пробовать сгладить редакцию первых, и в то же время у одного из присутствующих явилась мысль, нельзя ли связать эти меры с указом 12 декабря 1904 года, как продолжением этого указа. Из попытки этой ничего в ту минуту не вышло, а так как в это время подходили уже к пристани, то решили пока только установить в общих чертах содержание пунктов манифеста, наметили три таких пункта (два, предложенных князем А. Д., и третий о полномочиях Государственной Думы), и все это вкратце было отмечено на особом лист.

При этом С. Ю. сказал, что можно писать и коротко, так как все это разъяснено во всеподданнейшем докладе. Все разговоры и предположения никаких особых возражений со стороны присутствовавших не вызывали. Затем было решено, что, пока С. Ю. будет во дворце, бывшие с ним лица попробуют составить окончательный проект манифеста.

К возвращению С. Ю. из дворца в приготовленное для него помещение, проект был уже составлен. При этом первоначальный проект князя А. Д. остался как то в стороне, а руководились при составлении нового проекта заметками, сделанными на пароход. С. Ю. приехал из дворца около часу, говоря, что дело еще окончательно не решено, но что можно и подождать день или два. Князь А. Д. взволнованно доказывал нежелательность этого, в чем был поддержан и другим слушателем.

Затем проект был прочитан Сергею Юльевичу. Первый пункт о свободах казался составленным ясно в том смысле, что Государь решил даровать свободы, а введение их составит ближайшую задачу правительства. Эта часть проекта при чтении ни с чьей стороны никаких замечаний не вызвала, а затем подробно говорили о двух последующих пунктах,

причем князь Оболенский высказался против дальнейших изменений подготовленного проекта, так как это вызывало бы только излишнее промедление. Тем не менее, долго говорили об этих пунктах. Обсуждалось, расширить ли выборы только по отношению рабочих или также и других частей населения, не получивших избирательных прав. С. Ю. решил, соглашаясь с князем Оболенским, поставить вопрос шире; при этом слова о не приостановлении выборов вызывали у него сомнение, так как, может быть, нельзя будет обойтись без приостановки при переделке закона, но окончательно согласился их оставить, так как, по существу дела, откладывать выборы не представлялось желательным.

По пункту о законодательной власти думы останавливались на том, не слишком ли решительны выражения этого пункта, но затем признали, что они соответствуют смыслу всеподданнейшего доклада. Поехал С. Ю. вторично во дворец к 3 часам и, возвратившись затем, на пароход, после 5 час., говорил, что во дворце происходило совещание с участием Вел. Кн. Николая Николаевича, бар. Фредерикса и ген. Рихтера.

Великий Князь сначала говорил за строгие меры, но потом присоединился решительно к мыслям С. Ю. также, как и Рихтер. Его Величество окончательно сказал: «Если Я соглашусь, то дам знать Вам вечером». В тот день председатель никакого уведомления более не получал и, в 10 часов вечера, говорил, крестясь, что, очевидно, бумаг ждать нечего и он освободится от всего этого дела, так как оказалось, что в 6 часов к Государю были вызваны Горемыкин и Будберг и оттого, вероятно, и днем не был дан решительный ответ.

16 октября никаких новых сведений не было. 17-го, утром, выяснилось, что накануне и в течение ночи шли переговоры о том, чтобы всеподданнейшего доклада С. Ю. вовсе не публиковать, а редакцию манифеста изменить в том смысле, чтобы не упоминать о предстоящей деятельности «Правительства» по осуществлению намерений Государя, а прямо объявить о даровании реформ от имени Его Величества.

С. Ю. не считал возможным на это согласиться. Днем, на пароходе «Нева», С. Ю. отправился в Петергоф, поехал прямо к Его Величеству и привез из дворца подписанный манифест и утвержденный всеподданнейший доклад. На обратном пути С. Ю. высказывал мнение, что, если удастся дотянуть до собрания Думы, тогда все спасено, а если невозможны будут выборы, то ручаться ни за что нельзя.

20 октября, по распоряжению председателя, было составлено и опубликовано в «Правительственном Вестнике» правительственное сообщение, в котором объяснялось, что осуществление указанных в манифесте 17-го октября реформ требует законодательных определений и ряда административных мер; до того, прежние законы должны действовать.

*(подп.) Николай Вуич
31 декабря 1906 г.*

Записка Князя Н. Д. Оболенского

Октябрь 1905 года будет отмечен будущим русским летописцем, как исторический месяц, в течение которого произведена была первая реальная попытка пойти навстречу необ-

ходимости (в высших сферах еще в то время не вполне сознанный), совершить последний шаг по пути реформ и обновления русской жизни, начатых еще в царствование Императора Александра II.

Обстановка, среди которой в эти исторические дни чувствовало себя русское общество, была скорбная, тяжелая, угнетающая. Неудачно веденная война обнаружила несовершенства государственного механизма во всей их болезненной правде. Зароненное в среду неудовлетворенного, разочарованного, оскорбленного в самом скромном честолюбии общества, неудовольствие это стало концентрически расти и захватывать все классы населения, каждый раз по своему толковавшие о причинах наших внешних и внутренних неудач.

Почва эта являлась благоприятным рассадником для тех лиц, которые, с интернациональными идеями разнообразных оттенков, ставили целью своих мыслей и действий вызвать, в какой удастся форме, смуту в России, пользуясь которой ниспровергнуть существующий, мало кого удовлетворяющий государственный порядок. Вся эта сложная многопричинная и многообразная эволюция общественной мысли выразилась в забастовках, открытых смутах, грабежах, политических убийствах и насилиях, на глазах безучастного и скорее враждебно к правительству настроенного русского общества.

Сознание ненужности безотрадно веденной, жестокой и неудачной войны с Японией, находило некоторое успокоение в той мирной победе, которая была одержана в Портсмуте, когда, так или иначе, с относительно ничтожными жертвами, прекратилось безрезультатное кровопролитие, грозившее нам, к довершению бед, потерю Владивостока, Камчатки и прилегающих к Сибири островов на море, господство над которыми всецело перешло в руки японцев.

Общество под впечатлением этого акта запоздавшей государственной мудрости облегченно вздохнуло, и имя человека, приобретшего для своего отечества мир внешний, естественно приходило на мысль перед задачей внутреннего успокоения и наделения государства прочным внутренним миром. Председатель комитета министров, ст. – секр. граф Витте, утомленный нравственно испытанными напряжениями, вернулся в Россию и, принявшись за повседневную работу, с первых шагов столкнулся с отголосками внутреннего хаоса и того нестроения, которые настоятельно требовали энергичного и неотложного разрешения.

В первых же заседаниях комитета министров и в отдельных совещаниях у гр. Сольского резко определилась необходимость внести в государственную работу свежую струю, приступив к основным преобразованиям всего правительственного механизма.

6-го октября С. Ю. Витте пишет Государю Императору письмо, в котором всеподданнейше испрашивает разрешение прибыть в Новый Петергоф для доклада некоторых своих соображений в связи с происходившими уже в то время открытыми политическими демонстрациями, многочисленными митингами и собраниями общественных деятелей и общим неустройством, принявшим острый характер явно враждебных правительству манифестаций и политической забастовки. Железные дороги бездействовали, сообщение с Новым Петергофом поддерживалось лишь пароходами по Неве.

8 октября был получен Высочайший ответ: Государь Император писал графу Витте, что и Сам Он думал вызвать его к себе для обмена мыслей по вышеупомянутым вопросам и просил графа Витте прибыть в Петергоф на другой день к 6 час. вечера.

В пятницу 8 октября, вечером, граф С. Ю. Витте, при участии помощника управляющего делами комитета министров д. с. с. Вуича, составил программу намеченных реформ, с изложением в общих чертах, по пунктам, тех давно назревших у него данных, которые должны были в известной постепенности лечь в основу работы и политики будущего совета министров.

Казалось, что, выступая с такой программой, граф Витте, стоя во главе министров, мог рассчитывать удовлетворить и успокоить часть русского общества.

9 октября к 6 часам вечера гр. Витте отправился в Петергофа на пароходе и, будучи принят Его Величеством, доложил Государю Императору, что из настоящего тяжелого внутреннего положения правительству, по его мнению, представляются два выхода:

1) Облечь неограниченную диктаторскою властью доверенное лицо, дабы энергично и бесповоротно в самом корне подавить всякий признак проявления какого либо противодействия правительству, – хотя бы ценою массового пролития крови.

Для такой деятельности граф Витте не считал себя подготовленным.

2) Перейти на почву уступок общественному мнению и предначертать будущему кабинету указания вступить на путь конституционный; иначе говоря, Его Величество предпринимает дарование конституции и утверждает программу, разработанную графом Витте.

Последний считал своим нравственным долгом обратить особое внимание Государя Императора на всю важность принимаемого решения, сопряженного с некоторым самоограничением; причем возврат к прежнему порядку оказался бы немислимым.

Вследствие этого граф Витте просил Государя, до принятия окончательного решения, обсудить в особом совещании этот вопрос, привлекая к совещанию этому противников предлагаемого направления, мнения которых с достаточною ясностью определились в бывших за последнее время заседаниях и совещаниях.

Если же Государю угодно будет все таки согласиться на предлагаемую программу, то не стеснять графа Витте в выборе сотрудников, предоставив ему право распределения портфель даже среди общественных деятелей.

Далее граф Витте, указывая на важность принимаемого решения, когда одним почерком пера изменяется весь государственный строй, и на серьезность намечаемого добровольного самоограничения прав, испрашивал. пригласить на совещание Ее Величество Государыню Императрицу и Великих Князей.

На другой день 10 октября граф Витте был вновь приглашен в Петергоф, где повторил все сказанное накануне в присутствии только Ее Величества и оставил свою программу.

Прошло 11 и 12 октября и наступила среда 13 октября. За это время, составленная графом Витте программа подвергалась деятельному и влиятельному обсуждению лиц приближенных, а также имевших доклад у Государя. В результате в среду 13 октября граф Витте получил депешу от Государя приблизительно следующего содержания:

«Назначаю вас председателем совета министров для объединения деятельности всех министров».

О программе не упоминалось вовсе. Получив такого рода депешу, граф Витте справедливо заключил, что программа им представленная не принята и не утверждена, и 14-го ездил в Петергоф и доложил Его Величеству, что нравственно не считает для себя возможным исполнить Высочайшее повеление сделаться первым министром, до утверждения его программы, но вместе с тем, подтверждал еще раз необходимость программу эту всесторонне обсудить в совещании лиц, которых Государю угодно было бы привлечь для этой цели, и что с каждым днем внутреннее положение ухудшается, вызывая неотложную необходимость придти к тому или иному решению.

Его Величество, после доклада графа Витте, призвал князя Орлова (граф Гейден находился в отпуске) для отдачи ему приказаний относительно приглашений на совещание для обсуждения программы графа Витте.

По указанию Его Величества был составлен список лиц, имеющих быть приглашенными, и предрешено было, что одну только программу графа Витте утверждать нельзя, но что для надлежащего уяснения, что все в ней изложенное исходит лично от Государя, содержание ее необходимо облечь в форму манифеста.

На обсуждение программы приглашены были: Великий Князь Николай Николаевич, генерал-адъютант барон Фредерикс, генерал-адъютант Рихтер, граф Витте, статс-секретарь

Горемыкин и барон Будберг. После этого, князю Орлову передано было через камердинера приказание Его Величества, дабы г.г. Горемыкин и Будберг были доставлены в Петергоф на отдельном пароходе, в самом заседании не участвовали и ожидали дальнейших приказаний во дворце.

Затем, граф Витте получил из Петергофа уведомление, что 15 октября в 11 час. утра назначено у Его Величества особое совещание, на которое приглашается и он. Ему предложено также привезти с собой проект манифеста, дабы все намеченное им вывести из области одних обещаний в область Государем утвержденных фактов. Граф Витте первоначально решил в своей программе изменить редакцию вступления, в смысле более ясного подтверждения, что программа эта выработана по повелению и личному указанию Его Величества. Полагал, однако, что облечь программу эту в форму манифеста и трудно, и, может быть, преждевременно.

Однако, случайно здесь находившемуся князю А. Д. Оболенскому граф Витте предложил попытаться за ночь составить проект манифеста и на другой день 15 октября сопроводить его в Петергоф вместе с д. с. с. Вуичем.

В субботу 15 октября в 11 часов утра в Петергофе под председательством Государя началось совещание, на котором присутствовали: Великий Князь Николай Николаевич, генерал-адъютант барон Фредерикс, генерал-адъютант Рихтер и граф Витт. Великий Князь Николай Николаевич испросил разрешение задавать вопросы графу Витте в виду своего незнакомства с предметом и спрашивать объяснение того, что ему покажется неясным. В заседании этом граф Витте обрисовал в общих чертах общее положение России, как оно ему представлялось в эти дни, останавливаясь с особенным вниманием на том факте, что даже умеренные элементы русского общества заявляют себя, если не активно, то пассивно против правительства, и что, по его крайнему разумению, при настоящих обстоятельствах могут быть два исхода:

1) диктатура, или 2) вступление на путь конституции, причем доложил, с нужными пояснениями, все пункты своей программы.

В основу программы этой, как окончательная цель, легли:

а) дарование законодательных прав Государственной Думе и

б) дарование свободы слова, собраний, совести и неприкосновенности личности.

Великий Князь Николай Николаевич неоднократно прерывал докладчика, дабы яснее усвоить себе отдельные подробности доложенного. Заседание затянулось до часу дня и Государь приказал сделать перерыв до 2½ час., предложив к этому часу представить и проект манифеста, несмотря на то, что граф Витте еще раз доложил, что программа менее свяжет Государя, и что лучше было бы манифеста не составлять, так как в нем изложить всю сущность программы было бы затруднительно.

В три часа дня заседание возобновилось. Граф Витте несколько запоздал, корректируя проект манифеста, который и подвергся обсуждению. Присутствующие не возражали, но граф Витте просил еще раз Государя не решаться на подписание столь серьезного акта, не уяснив всестороннего его значения в виду чрезвычайной государственной и исторической важности делаемого шага и вероятности, что даже после этого успокоение может наступить не сразу.

Его Величество отпустил всех, положил проект манифеста в стол и поблагодарил графа Витте, сказав, что помолится Богу, еще подумает и скажет ему, решится ли Он на этот акт или нет.

По отъезде графа Витте, Государь приказал генерал-адъютанту барону Фредериксу призвать статс-секретаря Горемыкина и Будберга, ожидавших в Петергофе, и передать им на

рассмотрение этот манифест. Оба тотчас приступили к его обсуждению и нашли его несоответствующим. Член Государственного Совета Горемыкин принципиально не соглашался с необходимостью такого акта, а барон Будберг, главным образом, критически отнесся к формальной стороне самого изложения манифеста, находя таковое недостаточно хорошо редактированным. Горемыкин согласился помочь в редактировании одного проекта.

В это время граф Витте случайно осведомлен был, что проект его манифеста обсуждается без него и, опасаясь, что такой манифест мог бы быть подписан Государем и что он, граф Витте, принужден будет в силу обстоятельств принять его к исполнению и руководствоваться изложенными в нем видоизменениями статс-секретаря Горемыкина и барона Будберга, телефонировал барону Фредериксу и дворцовому коменданту князю Енгальчеву, прося их доложить Его Величеству о том, что он ходатайствует об изменениях, сделанных в его редакции, поставить его в известность, или же предложить авторам изменений статью во главе дела. Из Петергофа было отвечено, что сделанное в манифесте изменение незначительно и лишь редакционное. Граф Витте просил все-таки изменения эти, предварительно подписания, передать ему на прочтение.

В воскресенье 16 октября по Петербургу распространился слух, обсуждавшийся в различных кругах, что проект государственных преобразований графа Витте не одобрен, а утвержден и принят другой проект члена Государственного Совета Горемыкина; слухи эти в общей их сложности произвели угнетающее впечатление.

16 октября вечером (после предварительного предупреждения по телефону), около полуночи к графу Витте приехал генерал-адъютант барон Фредерикс с своим начальником канцелярии генерал-майором А. А. Мосоловым. Барон Фредерикс извинился перед графом Витте, сообщив, что манифест изменен не в редакционном только отношении, как он это сообщил, но и по существу и просил графа Витте согласиться принять манифест в этом измененном виде к исполнению, так как измененный манифест заключал в себе, по его мнению, больше уступок, чем проектированный графом Витте.

Ознакомившись с новой редакцией манифеста, граф Витте усмотрел, что между проектом, представленным им, и проектом, ему привезенным, различие по существу сводилось к следующему:

1) В проекте у графа Витте определенно говорилось, что Его Величеству благоугодно повелеть своему правительству озаботиться проведением в жизнь Его неуклонною волею предначертанных реформ; в проекте, привезенном бароном Фредериксом, те же пункты уже определены, как даруемые.

2) О праве на законодательный почин со стороны Государственной Думы в этом последнем проекте не упоминалось вовсе.

При этом, граф Витте еще раз просил барона Фредерикса испросить у Государя Императора не печатать пока манифеста, а лишь утвердить и обнародовать одну программу с теми изменениями, которые в ее вступлении уже сделал сам граф Витте, относя все в ней изложенное к инициативе, указаниям и воле Его Величества. Барон Фредерикс ответил, что вопрос о том, что настоящая реформа должна быть возведена населенно манифестом, решен бесповоротно.

В заключение граф Витте заявил барону Фредериксу, что он ясно сознает, что со стороны Его Величества в основу отношений к нему, несмотря на все внимание Государя Императора, несомненно легло чувство некоторого недоверия, что при наличии такого серьезного фактора совместная государственная работа крайне затруднится, и что, быть может, было бы целесообразнее оставить самую мысль о назначении его первым министром, а для объединения министров избрать одного из авторов измененного манифеста, причем просил довести до сведения Его Величества о своей готовности и в этом случае на второстепенном посту послужить общему делу.

Высказанное графом Витте предположение имело за собою несомненное основание, так как ближайшие к Государю лица не верили в искренность графа Витте и были убеждены, что он в своих честолюбивых намерениях, стремится быть президентом Российской республики, и что, в предвидении возможности такого факта, находит себе объяснение та выдающаяся ласка и любезность, предметом которых сделался граф Витте, при возвращении из Портсмута, со стороны германского Императора Вильгельма II, прозревавшего в нем будущего русского республиканского президента.

На другой день 17 октября, в 9 час. утра, барон Фредерикс отправился с докладом к Государю Императору. Результатом этого доклада было немедленное приглашение туда же Великого Князя Николая Николаевича и графа Витте; последний мог прибыть лишь к 4½ часам дня.

Великий Князь Николай Николаевич, проникшись основательностью данных графом Витте объяснений, выразил свое полное сочувствие проекту графа Витте и доложил о невозможности, за недостатком войск, прибегнуть к военной диктатуре. Великий Князь и барон Фредерикс были приняты Государем раньше приезда графа Витте, причем тут же решено было, что Его Величество подпишет манифест, составленный графом Витте, и утвердит программу, представленную им. В канцелярии министра Императорского двора, временно переведенной в Петергоф, приказано было приступить к переписке манифеста.

В 6-ом часу вечера работа эта была закончена. Граф Витте, уже прибывший из Петербурга, поехал в Александрию, и в его присутствии Государь Император подписал манифест и утвердил программу. Таким образом, не без некоторой борьбы, колебаний и сомнений Государю угодно было вернуть России на покинутый ею, в силу разнообразных внутренних и внешних обстоятельств, путь реформ и завершить великое дело своего Августейшего Деда.

При обратном возвращении в Петербург, на палубе парохода находился Великий Князь Николай Николаевич. Он казался веселым и довольным. Обратившись к графу Витте, Его Высочество заметил:

«Сегодня 17 октября и 17 годовщина того дня, когда в Борках была спасена династия. Думается мне, что и теперь династия спасается от не меньшей опасности сегодня происшедшим историческим актом».

Август – сентябрь 1906 года.

В вышеприведенной «справке о манифесте 17 октября 1905 года», в виду ее назначения при ее составлении, события изложены с математическою точностью, но совершенно кратко и при полном отсутствии эпизодических фактов, их сопровождавших.

Когда, после возвращения из Америки, я приехал в Петербург, то у меня совершенно созрело желание уехать из России, так как я ясно видел, что ничего доброго ожидать нельзя. Положение вещей было совершенно запутано, несчастная позорная война на долго обессилила Россию и вселила в ней недобрые чувства возмущения. Самое главное то, что я знал Государя, знал, что мне на Него положиться нельзя – знал Его бессилие, недоверчивость и отсутствие всякого синтеза при довольно развитой способности к анализу.

Уехать из России я желал не потому, что хотел уйти от грядущих событий, а потому что это представлялось мне единственным способом, чтобы меня подобно тому, как это случилось с назначением меня в Портсмут, не взяли и не бросили вновь в огонь после того, как сами, разжегши огонь, не найдут охотников лезть его гасить. Положение дел все ухудшалось, революция выходила наружу через щели и обратила эти щели в ворота. Так как гр. Сольский занимал место председателя Государственного Совета, финансового комитета и председателя совета министров (вместо Его Величества) и под его председательством в совете (или совещании, так как в сущности по закону совет мог быть только под председательством Государя) шли всякие заседания по установлению различных законов в развитие

закона 6-го августа о Государственной Думе, то я его видел довольно часто. Он, видимо, совсем пал духом, потерял всякие надежды и совместно со своей женой постоянно твердил, что все ожидают лишь спасения от меня. Как то в начале октября, как я уже рассказывал, на эти замечания, что все ожидают лишь от меня спасения, я сказал гр. Сольскому, что мое, не только желание, но решение ухать за границу отдохнуть после Портсмутского путешествия. Эти слова вызвали у Сольского волнение и он плача сказал мне: «ну, что же, уезжайте и оставляйте нас здесь всех погибать. Мы же погибнем, так как без вас я не вижу выхода».

Этот разговор и понудил меня 6-го октября просить Государя меня принять. Записка, о которой упоминается в выше приведенной справке о 17 октября, была оставлена у Его Величества; она по всей вероятности находится в архивах министерства двора. Государь все время на вид казался спокойным, вообще Он всегда в обращении и манере себя держит очень спокойно.

10-го октября я думал, что Государь кроме Императрицы пригласит кого либо из Великих Князей. Императрица Мария Феодоровна находилась в то время в Дании. Он никого не пригласил вероятно потому, что не хотел на себя взять инициативу, а Царская семья, т. е. Великие Князья, за исключением двух братьев Николаевичей, тоже не горели желанием придти на помощь Главе дома. Что же касается Вел. Кн. Николая Николаевича, то он в это время охотился в своем имении, а Петр Николаевич находился, кажется, в Крыму.

Такие отношения в Царском доме сложились главным образом благодаря Императрице Александре Феодоровне. Николаевичи, женатые на черногорках, Ее горничных, потому и пользовались благоволением Его Величества. Я после слышал от министра двора бар. Фредерикса упреки Вел. Кн. Владимиру Александровичу за то, что он в это трудное время, будучи в Петербурге, не пришел на помощь Государю советом. С своей стороны я думаю, что если бы Вел. Князь в это время проявился, то тогда ему дали бы понять, чтобы он не вмешивался не в свое дело.

Государь не терпит иных кроме тех, которых он считает глупее себя, и вообще не терпит имеющих свои суждения, отличные от мнений дворцовой камарильи (т. е. домашних холопов), и потому эти «иные», но которые не желают портить свои отношения, стремятся пребывать в стороне. 10-го октября Императрица во время моего доклада не проронила ни одного слова, а Государь первый раз сказал свое мнение о манифесте.

Возвратившись домой, я долго думал об этом и к мнению о манифесте отнесся скептически и в конце концов отрицательно; вот почему. Мне прежде всего представлялось, что никакой манифест не может точно обнять предстоящая преобразования, а всякие неточности и особенно двусмысленности могут породить большие затруднения. Поэтому я находил, что преобразования должны проходить законодательным порядком и, – впредь до придания законодательным учреждениям прав решения, – в порядке совещательном или через Государственный Совет (старый) или через Булыгинскую думу, когда она будет собрана (т. е. по закону 6-го августа). До известной степени я боялся, чтобы манифест не произвел неожиданного толчка, который еще более бы нарушил равновесие в сознании масс, как интеллигентных, так и темных.

Наконец, находясь около двух лет не у живого дела, у меня явилось желание осмотреться. 11-го числа или 12, не помню, кто то мне сказал, что Государь совещается с некоторыми лицами, с кем, именно, я не спрашивал, и меня это не интересовало, но я думал, что с Чихачевым, гр. Паленом, а, может быть, и с гр. Игнатьевым, на которого я в это время указал министру двора бар. Фредериксу, что, может быть, Государь с ним посоветуется, и он окажется подходящим диктатором, если Его Величество остановится на диктатуре.

Сам я в диктатуру не верил, т. е. не верил, чтобы она могла принести полезные плоды для Государя и отечества, что я и высказывал Его Величеству откровенно, но в душе я имел слабость ее желать из эгоистических стремлений, так как тогда я был бы избавлен стать во

главе правительства в такое трудное время и при условиях таких, хорошо известных мне свойств Его Величества и двора, прелесть коих я уже на себе ранее испытал и которые внушали мне самые тревожные опасения.

Я понимал, что ни на благодарность, ни на благородство души и сердца рассчитывать не могу; в случае удачи меня уничтожат, окончательно испугавшись моих успехов, а в случае неудачи будут рады на меня обрушиться вместе со всеми крайними. Желая себе выяснить, на сколько можно положиться на военную силу, я устроил в течение этих дней у себя заседание, в котором участвовали два официальных представителя военной силы, военный министр и ген. Трепов, бывший в то время начальником Петербургского гарнизона; они произвели на меня весьма тягостное впечатление, в их мнениях явно сквозило, что рассчитывать на успокоение через войска невозможно и не потому, что это средство само по себе, конечно, длительного и здорового успокоения дать не могло, а вследствие отчасти неблагонадежности, а главное, слабости этой силы. Вероятно, те же речи держали Государю представители военной силы, а в том числе. и Вел. Кн. Николай Николаевич и по всей вероятности поэтому Он не остановился на диктатуре.

Иначе я себе не могу объяснить, почему Государь не решился на диктатуру, так как Он, как слабый человек, более всего верит в физическую силу (других конечно), т. е. силу Его защищающую и уничтожающую всех Его действительных и подозреваемых, основательно или по ложным наветам, врагов, причем, конечно, враги существующего неограниченного, самопроизвольного и крепостнического режима, по Его убеждению, суть и Его враги.

Великий Князь Николай Николаевич после того, как мы были у Его Величества по делу пресловутого Биоркского соглашения, уехал к себе в имение, и я его с тех пор не видал до заседания у Государя 15-го. Оказалось, что он тогда только что вернулся с охоты по вызову Государя. Несмотря на то, что я 14-го числа снова советовал Государю ограничиться утверждением моей программы, того же числа кн. Орлов, передавая мне по телефону, чтобы я прибыл на следующий день, 15-го утром, на заседание, сказал мне повеление Государя привезти с собой проект манифеста, «дабы все исходило лично от Государя и чтобы намеченные мною меры в докладе были выведены из области обещаний в область Государем даруемых фактов».

Из этого разговора с Орловым я усмотрел, что он принимает какое то участие в деле, но какое я не знал и не придавал ему должного значения, зная Орлова, как приятного салонного собеседника, но человека совсем не серьезного и без всякого серьезного образования. Затем я узнал от кн. Н. Д. Оболенского, что он знал о разговоре Орлова со мною по телефону, что вышеприведенная формула была не случайная, а обдуманная, изложенная на записке (шпаргалке) у Орлова.

Впоследствии я узнал, что Государя уговорили издать манифест не потому, что мерам изложенным в манифесте сочувствовали, а потому, что дали идею Государю, что я хочу быть президентом Всероссийской Республики и потому я хочу, чтобы меры долженствующие успокоить Россию исходили от меня, а не от Его Величества. Вот для того, чтобы расстроить мои планы о президентства, уговорили Государя, что Он непременно должен издать манифест. Нужно воспользоваться мыслями гр. Витте, а затем можно с ним и прикончить.

Сначала решили ограничиться телеграммой, данной мне 13 числа, а когда я настаивал, чтобы были приняты более решительные меры и в случае принятия моей программы просил ее утверждения, тогда уже решили, что в таком случае необходим манифест, дабы я не сделался президентом республики. Как все это не невероятно, но, к сожалению, я пришел к заключению, что это было так. Князь Орлов и другие обер-лакеи Его Величества (не настоящие лакеи, ибо Государь был окружен честными слугами Его физических потребностей) тогда же выказывали опасения о моем президентстве князю Оболенскому. Этот факт и то,

что Государь мог, хотя в некоторой степени, действовать под влиянием подобных буффонад, наглядно показывает, каким образом Россия после 8–9 летнего царствования Императора Николая II упала в бездну несчастий и полной прострации.

Как мне впоследствии (После того, как я оставил пост председателя совета министров.) рассказывал кн. Николай Дмитриевич Оболенский (до настоящего времени заведующий кабинетом Его Величества), он, усматривая из разговора с кн. Орловым какое то безумное недоразумение – с одной стороны недоверие ко мне, а с другой потребность и вернее непреодолимое желание (род нравственного недуга), чтобы я стал во главе правительства, он, кн. Оболенский, решил тогда же устранить это грозное по возможным последствиям и безумное недоразумение.

Зная, что Государь находился совсем в руках своей Августейшей супруги, которая к тому же отлично относилась к кн. Н. Д. Оболенскому, по причинам, о которых я упоминал ранее в настоящих записках, он отправился к ней. Явившись к Императрице, он встал на колени и умолял Императрицу, чтобы Государь не назначал меня председателем совета, объяснив, что из этого ничего кроме беды не выйдет, так как он ясно видит, что Государь мне не доверяет, а между тем, он, кн. Оболенский, меня знает, что и я с своей стороны не могу быть в чьих бы то ни было руках послушным инструментом в виду моего характера, что под 60 лет характер не меняют, и что при таком положении вещей, очевидно, дело не пойдет: как, только наступят признаки успокоения, Государь будет слушаться других, а я этого не потерплю, буду упрячиться даже в тех случаях, когда при доверчивом отношении друг к другу шел бы на компромиссы, кончится тем, что я в самом непродолжительном времени уйду, возбужу по отношению к себе дурные, мстивые, злонамеренные чувства у Государя и в результате больше всего пострадает дело – Россия и ее Государь.

Ее Величество все сие выслушала молча и отпустила князя Оболенского.

Но после этого, а, в особенности, когда я покинул пост председателя, Государыня совершенно отвернулась от кн. Оболенского. Прежде он был самый интимный у них в доме человек, теперь он никогда более не приглашаем. Отношения к нему самые формальные, и когда кн. Оболенский остается вместо бар. Фредерикса управлять министерством двора, то всегда стараются устроить так, чтобы доклады его были после 2-х часов, т. е. после завтрака, так как, когда был раз доклад до завтрака, то Государь был видимо в неудобном положении.

Всегда и не только в Его время, но во время царствования Александра III, если Оболенский находился во дворце, то его приглашали интимно завтракать. После доклада Государь чувствовал, что не пригласить завтракать неудобно, а пригласить – пожалуй – достанется... Бедный Государь... Какой маленький – Великий Благочестивейший Самодержавнейший Император Николай II!

Для того, чтобы судить о настроении ближайшей свиты Государя в эти октябрьские дни, достаточно привести следующий факт. Когда мы шли в октябрьские дни на пароход в Петергофе (в течение всего этого времени железная дорога бастовала), на заседание с нами также ехал обер-гофмаршал двора ген. – адъютант граф Бенкендорф (брат нашего посла в Лондоне), человек не глупый, образованный, преданный Государю и из числа культурных дворян, окружающих престол. Он, между прочим, передавал сопровождающему меня Вуичу свои соболезнования, что в данном случае жаль, что у Их Величеств пятеро детей (4 Вел. Княжны и бедный, говорят, премилый, мальчик наследник Алексей), так как, если на днях придется покинуть Петергоф на корабле, чтобы искать пристанища за границей, то дети будут служить большим препятствием.

Из вышеприведенной записки, бывшей на контрольном усмотрении Государя Императора, видно, как составлялся манифест. Очевидно он составлялся на скорую руку, и я

до самого момента его подписания думал, что Государь его не подпишет. Он бы его и не подписал, если бы не Вел. Князь Николай Николаевич – мистик, сейчас же вслед за 17 октября обратившийся в обер-черносотенца. Один из редакторов манифеста, почтеннейший кн. А. Д. Оболенский, как я после рассудил, был в состоянии неврастения. Он все таки твердил мне, что манифест необходим, а через несколько дней после 17 октября пришел ко мне с заявлением, что его сочувствие и толкание к манифесту было одним из величайших грехов в его жизни. Теперь он, по-видимому, уравновесился и смотрит на вещи более здорово. Сам по себе он человек благородный и талантливый, но устойчивым равновесием Бог его мало наградил.

При возвращении из Петергофа с заседания на пароход кто то проговорился, и я в первый раз услышал фамилию Горемыкин. Кто то сказал, что вероятно сегодня еще придется тому же пароходу, на котором мы ехали, везти из Петергофа Горемыкина. Как потом оказалось, Его Величество почти одновременно вел два заседания и совещания – одно при моем участии, а другое при участии Горемыкина.

Такой способ ведения дела меня весьма расстроил, я увидел, что Его Величество даже теперь не оставил свои «византийские» манеры, что он не способен вести дело начистоту, а все стремится ходить окольными путями, и так как Он не обладает талантами ни Меттерниха, ни Талейрана, то этими обходными путями он всегда доходит до одной цели – лужи, в лучшем случае помоев, а в среднем случае – до лужи крови или окрашенной кровью.

Если сведение, случайно дошедшее до меня на пароходе о Горемыкине, меня взорвало, то с другой стороны оно меня и обрадовало, так как это дало мне основание уклониться от желания во что бы то ни стало поставить меня во главе правительства.

16-го днем я вызвал по телефону бар. Фредерикса, министра двора, и ему, а равно дворцовому коменданту князю Енгальчеву (так как барон Фредерикс сам затруднялся говорить по телефону) говорил, что до меня дошли сведения, что в Петергофе происходят какие-то совещания с Горемыкиным и Будбергом и что предполагают изменять оставленный мною у Его Величества проект манифеста, что я, конечно, ничего против этих изменений не имею, но под одним условием, чтобы оставить мысль поставить меня во главе правительства, и если же, несмотря на мое желание уклониться от этой чести, меня все-таки хотят назначить, то я прошу показать мне, какие изменения полагают сделать, хотя я остаюсь при мнении, что покуда никакого манифеста не нужно. На это мне бар. Фредерикс ответил, что предполагается сделать только несколько редакционных изменений и что они надеются, что я не буду настаивать для выигрыша времени на том, чтобы мне показали предполагаемые изменения. Я ответил, что я все-таки прошу эти изменения мне показать. Мне ответили, что вечером барон Фредерикс будет у меня и мне изменения покажет. Вечером у меня были братья Оболенские – Алексей и Николай. Они сидели у жены. Барон Фредерикс все не приезжал.

Наконец, он приехал уже за полночь и вместе с директором своей канцелярии Мосоловым (женатым на сестре ген. Трепова). Мы, т. е. я, барон Фредерикс и его помощник кн. Н. Оболенский, уселись, и разговор начался с того, что бар. Фредерикс сказал, что он ошибся, передав мне, что в проекте манифеста сделаны лишь редакционные изменения, а что он изменен по существу, и мне предъявили оба проекта, с указанием на один из них, на котором остановились. Все эти экивоки, какая то недостойная игра, тайные совещания, при моей усталости от поездки в Портсмут и болезненном состоянии, меня совсем вывели из равновесия. Я решил внутренне, что нужно с этим положением покончить, т. е. сделать все, чтобы меня оставили в покое. Поэтому я отверг предъявленные мне анонимные, кем то тайно от меня составленные проекты манифеста. Они и по существу не могли быть приняты в предложенном виде. Если бы в это, решающее на много лет судьбы России, время, вели дело честно, благородно, по царски, то многие происшедшие недоразумения были бы избег-

нуты. При всей противоположности моих взглядов с взглядами Горемыкина и тенденциями балтийского канцеляриста барона Будберга, если бы они были призваны открыто со мною обсуждать дело, то общее чувство ответственности несомненно привело бы нас к более или менее уравновешенному решению, но при игре в прятки, конечно, события шли толчками и документы составлялись наскоро без надлежащего хладнокровия и неторопливости, требуемых важностью предмета.

Что же касается других тайных советчиков и царской дворни – кн. Орлова, кн. Енгальчева и пр., – то с ними никакого разговора, конечно, ни я, ни другой серьезный человек вести не мог. Эти люди могут быть только домашними советчиками бедного Императора Николая II. Я сделал все для того, чтобы меня оставили в покое.

Я, с свойственно моему характеру резкостью, просил бар. Фредерикса передать Государю, что я неоднократно ему докладывало, что ныне не следует издавать манифеста и вновь прошу доложить об этом моем мнении Его Величеству, но если Его Величество все-таки хочет манифест, то я не могу согласиться на манифесты, несогласные с моею программой, без утверждения коей я не могу принять на себя главенство в правительстве, что из всего я усматриваю, что Государь мне не доверяет, поэтому Он сделает большую ошибку, меня назначив на пост председателя, что Ему следует назначить одного из тех лиц, с которыми Он помимо меня совещается и которые составили предлагаемые проекты манифестов.

Все это я говорил таким тоном, что был уверен, что после этого меня оставят в покое. Во время этого разговора, вследствие моего вопроса – знает ли обо всем происходящем ген. Трепов, так как я с ним ни о чем не говорил и видел его только раз, на заседании, которое было у меня, барон мне ответил, что они потому поздно и приехали, что засиделись у Трепова, читая ему все проекты.

Причем бар. Фредерикс теперь говорит, что будто бы он мне тогда говорил, что Трепов сделал какие то замечания по поводу редакции манифеста. Ни я, ни кн. Оболенский этого не помним, но, может быть, что либо в этом роде он и сказал, но так как я отрицал необходимость манифеста в данный момент, а, с другой стороны, думал только о том, чтобы кончить эту игру в каш-каш, то на заявление бар. Фредерикса об мнении Трепова я не обратил никакого внимания. Да мне были совершенно безразличны мнения Трепова о государственных вопросах. Мы расстались с бар. Фредериксом поздно ночью, часа в два, и расстались в довольно возбужденном состоянии.

Когда он уехал и я остался один, я начал молиться и просить Всевышнего, чтобы Он меня вывел из этого сплетения трусости, слепости, коварства и глупости. У меня была надежда, что после всего того, что я наговорил бар. Фредериксу, меня оставят в покое.

На другой день я снова по вызову поехал в Петергоф. С парохода я прямо отправился к бар. Фредериксу. Приезжаю и спрашиваю его – ну что, барон, передали все Государю, как я вас об этом просил? – Передал, ответил барон. – Ну? и слава Богу, меня оставят в покое. – Нисколько, манифест будет подписан в редакции, вами представленной, и ваш доклад будет утвержден. – Как же это случилось? – Вот как: утром я подробно передал Государю наш ночной разговор; Государь ничего не ответил, вероятно, ожидая приезда Вел. Кн. Николая Николаевича. Как только я вернулся к себе, приезжает Великий Князь. Я ему рассказываю все происшедшее и говорю ему – следует установить диктатуру и ты (бар. Фредерикс с Великим Князем был на ты) должен взять на себя диктаторство. Тогда Великий Князь вынимает из кармана револьвер и говорит – ты видишь этот револьвер, вот я сейчас пойду к Государю и буду умолять Его подписать манифест и программу гр. Витте или Он подпишет, или я у Него же пушу себе пулю в лоб из этого револьвера, и с этими словами он от меня быстро ушел.

Через некоторое время Великий Князь вернулся и передал мне повеление переписать в окончательный вид манифест и доклад и затем, когда вы приедете, привезти эти документы Государю для подписи.

Это сообщение бар. Фредерикса меня весьма озадачило, я понял, что выхода более нет.

Впоследствии ген. Мосолов, директор канцелярии министра двора, рассказывал мне следующее: «Утром после того, что мы были у вас, я пришел к барону, у него в это время находился Великий Князь Николай Николаевич. Великий Князь спешно вышел от барона, тогда барон мне сказал: – Нет, я не вижу иного выхода, как принятие программы гр. Витте, я все рассчитывал, что дело кончится диктатурой, и что естественным диктатором является Великий Князь Николай Николаевич, так как он безусловно предан Государю и казался мне мужественным. Сейчас я убедился, что я в нем ошибся, он слабовдушный и неуравновешенный человек. Все от диктаторства и власти уклоняются, боятся, все потеряли головы, поневоле приходится сдать гр. Витте. – Что произошло между бароном и Великим Князем, мне тогда барон не объяснил», добавил генерал Мосолов.

Впоследствии он мне рассказывал, как Великий Князь, испугавшись, торопливо вырвал у Государя манифест и заставил принять программу гр. Витте. Под каким влиянием Великий Князь тогда действовал, мне было неизвестно. Мне было только совершенно известно, что Великий Князь не действовал под влиянием логики и разума, ибо он уже давно впал в спиритизм и так сказать свихнулся, а, с другой стороны, по «нутру» своему представляет собою типичного носителя неограниченного самодержавия или, вернее говоря, самоволия, т. е. «хочу и баста».

Не удивительно поэтому, что уже через несколько недель после 17 октября я узнал, что Великий Князь находится в интимных отношениях с главою начинающей образовываться черносотенной партии, т. е. с пресловутым мазуриком Дубровиным, а затем он стал почти явно во главе этих революционеров правой.

Они, ни по приемам своим, ни по лозунгам (цель оправдывает средства), не отличаются от крайних революционеров слева, они отличаются от них только тем, что революционеры слева – люди, сбившиеся с пути, но принципиально большею частью люди честные, истинные герои, за ложные идеи жертвующие всем и своею жизнью, а черносотенцы преследуют в громадном большинстве случаев цели эгоистические, самые низкие, цели желудочные и карманные. Это типы лабазников и убийц из-за угла. Они готовы совершать убийства также как и революционеры левые, но последние большею частью сами идут на этот своего рода спорт, а черносотенцы нанимают убийц; их армия – это хулиганы самого низкого разряда.

Благодаря влиянию Великого Князя Николая Николаевича и Государь возлюбил после 17 октября больше всех черносотенцев, открыто провозглашая их как первых людей Российской Империи, как образцы патриотизма, как национальную гордость. И это таких людей, во главе которых стоять герои вонючего рынка, Дубровин, гр. Коновницын, иеромонах Иллиодор и проч., которых сторонятся и которым во всяком случае порядочные люди не дают руки.

Мне долго не было точно известно, что побудило Великого Князя, так ревностно перед 17 октября стоять за тот переворот, который был совершен 17 октября. Я был только убежден, что между прочим трусость, во всяком же случае растерянность.

Затем уже более чем через год после этого события поведение Николая Николаевича перед 17 октября мне объяснил П. Н. Дурново влиянием на него главы одной из рабочих партии Ушакова. Дурново ранее, нежели в моем министерстве стал министром внутренних дел, был все время товарищем министра при Сипягине, Плеве, Мирском и Булыгине и заве-

дывал ближайшим образом почтами и телеграфом, а, следовательно, и всей перлюстрацией, потому и знал многое, чего другие не знали.

Это сообщение Дурново меня крайне удивило, и так как Ушакова я знал, так как он был видным рабочим экспедиции заготовления государственных бумаг, когда я был министром финансов, то я начал его искать, нашел и просил ко мне зайти.

По возвращении моем из Америки в сентябре 1905 года он с несколькими рабочими являлся меня поздравить, затем, во время событий октября 1905 года, он у меня не был, после 17 октября он несколько раз заходил хлопотать об рабочих экспедиции и об урегулировании им рабочей платы после общей забастовки рабочих, бывшей в Петербурге. В октябрьские дни Ушаков не пристал к партии анархической, руководившей всей забастовкой (Носарь, Троцкий и пр.), и образовал малочисленную партию, которая по тем временам считалась крайне консервативной, а потому она преследовалась, так называемым, советом рабочих, который в октябрьские дни держал в руках взбунтовавшихся рабочих на всех почти фабриках.

Совет же рабочих состоял преимущественно из анархистов-революционеров. Когда в 1907 году пришел ко мне Ушаков, то я его спросил, правда ли, что в октябре 1905 года это он повлиял на Великого Князя Николая Николаевича, чтобы он настаивал на немедленном введении конституции. Ушаков мне ответил, что это действительно так было, тогда я его попросил написать мне, как именно это происходило и кем он был побужден к такой роли.

Вследствие моей просьбы он мне на другой день представил записку, которая хранится в моем архиве. Сущность записки заключается в том, что он в октябрьские дни и до этого времени вел борьбу, имеет за собою некоторую часть рабочих, с революционным рабочим движением, во главе которого стоял Носарь (Хрусталева), что его ввел к Николаю Николаевичу некий Нарышкин, с которым его познакомил кн. Андроников, что это было накануне 17 октября и что он убеждал Великого Князя, чтобы Государь дал конституцию, как необходимую меру, чтобы выйти из тяжелого положения. Кн. Андроников – это личность, которую я до сих пор не понимаю; одно понятно, что это дрянная личность. Он не занимает никакого положения, имеет маленькие средства, не глупый, сыщик не сыщик, плут не плут, а к порядочным личностям, несмотря на свое княжеское достоинство, причислиться не может.

Он не кончил курса в пажеском корпусе, хорошо знает языки, но малого образования. Он вечно занимается мелкими политическими делами, влезает ко всем министрам, Великим Князьям, к различным общественным деятелям, постоянно о чем то хлопочет, интригует, ссорит между собой людей, что доставляет ему истинное удовольствие, оказывает нужным ему людям мелкие услуги, конечно, он ухаживает лишь за теми, кто в силе или в моде, и которые ему иногда открывают к себе двери. Это какой то политический мелкий интриган из любви к искусству.

Нарышкин – это не из тех настоящих Нарышкиных, за одним из братьев коих замужем моя дочь, с этими Нарышкиными он не имеет ничего общего. По существу, это дворянский «jeune premier», промотавший свое состояние, ничего в жизни не делавший, человек петербургского общества, спортсмен – охотник, и по охоте компаньон, а потому и близкий Николаю Николаевичу. Он повлиял и ввел Ушакова к Великому Князю. Очень может быть, что его познакомил с Ушаковым всюду проникающий кн. Андроников. Впрочем, в это время даже умные люди, прожившие деловую жизнь, теряли голову, а тем, у которых головы никогда не было, ее и терять было не нужно.

В совещаниях с Государем, о которых говорится в вышеприведенной справке, я конечно более или менее подробно высказывал свои суждения, но старался быть возможно объективнее, дабы не повлиять односторонне на Его Величество. Во всех моих суждениях я подробно развивал мысли, изложенные в докладе, вышеприведенном, опубликованном 17

октября вместе с манифестом, и все высказывал, что мысли эти составляли мое убеждение, к которому я пришел после обильного государственного опыта, и с которым пребываю до ныне, и с которым умру, но что все-таки это есть мое субъективное убеждение, что есть и другие мнения, а потому постоянно говорил и советовал Его Величеству выслушать тех, которые держатся других взглядов. В особенности, я обращал внимание на мысль об учреждении диктатуры. Что касается манифеста, то я не считал удобным издавать какой бы то ни было манифест, настоятельно рекомендуя только твердо утвердить мой всеподданнейший доклад (быть по сему, утверждаю – или что либо равносильное), но когда, вопреки моему совету, непременно пожелали немедленно издать манифест, и когда за моей спиной начали фабриковать манифесты, то, вопреки моему желанно, был спешно составлен манифест (Вуичем и кн. А. Д. Оболенским), и я настаивал, что, если непременно хотят манифест, то я не могу допустить иного манифеста, кроме того, который я поднес. Несомненно, что по крайней спешности, взбаламученности, манифест явился не в совсем определенной редакции, а главное, неожиданно.

Провинция, находившаяся в возбужденном состоянии, неожиданным появлением манифеста в некоторых местах, где власти были трусливы, сразу пришла в горячку. В некоторых местах крайние манифестации в одном направлении вызвали манифестации с противоположной стороны.

В иных местах эти реакционные манифестации, иногда связанные с погромами, конечно, «жидов», были если не организованы, то поощряемы местным начальством. Таким образом, манифест 17 октября по обстановке, в которой он появлялся, отчасти способствовал многим беспорядкам, вследствие своей неожиданности и растерянности на местах. Этого, именно, я и боялся, вследствие чего, между прочим, я высказался против манифеста. Кроме того, манифест наложил печать спешности на все остальные действия правительства, так как, предрешив и установив принципы, он конечно не мог установить подробности даже в крупных чертах. Пришлось все вырабатывать спешно, при полном шатании мысли, как наверху, так и в обществе.

Конечно, всем этим весьма воспользовалась анархия для своих революционных целей; она сбила с толку многих темных людей, даже более темные массы.

Это содействовало революции, которая готовилась уже многие годы и которая вырвалась наружу, благодаря преступной и бессмысленной войне, показавшей всю ничтожность государственного управления. Кто виноват в этой войне? В сущности, никто, ибо, единственно, кто виноват, это и самодержавный и неограниченный Император Николай II. Он же не может быть признан виновным, ибо Он не только, как самодержавный помазанник Божий, ответствен лишь перед Всевышним, но кроме того, с точки зрения новейших принципов уголовного права, Он не может быть ответствен как человек, если не совсем, то, во всяком случае, в значительной степени, невменяемый.

Таким образом, нельзя не признать, что, с точки зрения логики, манифест 17 октября был актом, подлежащим порицанию; но, с другой стороны, последующие события дают полное оправдание манифесту 17 октября.

Действительно, манифест 17 октября, в редакции, на которой я настаивал, отрезает вчера от сегодня, прошедшее от будущего. Можно и должно было не спешить этой исторической операцией, сделать ее более осторожно, более антисептически, но операция эта, по моему убеждению, не много ранее или не много позже, была необходима. Это неизбежный ход истории, прогресса бытия.

Между тем, события после 17 октября очевидно показали, что если бы вороны не популись, то и не оставили бы тот живой организм, с которым их клювы часто обращались, как с падалью, и это даже вошло, как бы, в привычку при дворцовой высшей челяди, что

развращало самого Помазанника, когда таковой не мог стоять на своих ногах, жить своим разумом, своими чувствами, а главное, не отступать от того, что на сем свете признано благородными людьми считать честным.

Когда громкие фразы, честность и благородство существуют только на показ, так сказать, для царских выходов и приемов, а внутри души лежит мелкое коварство, ребяческая хитрость, пугливая лживость, а в верхнем этаже не буря, даже не ветер, а сквозные ветерочки из дверей, которые обыкновенно в хороших домах плотно припираются, то, конечно, кроме развала ничего ожидать нельзя от неограниченного самодержавного правления. При такой обстановке несомненно, что, если бы не было 17 октября, то, конечно, оно в конце концов произошло бы, но при значительно больших несчастьях, крови и крушениях. Поэтому, хотя я не советовал издавать манифеста 17 октября, тем не менее, слава Богу, что он совершился. Лучше было отрезать, хотя не совсем ровно и поспешно, нежели пилить тупою, кривою пилою, находящейся в руке ничтожного, а потому бесчувственного оператора, тело русского народа.

В течение всех октябрьских дней Государь, когда я был с Ним, казался совершенно спокойным. Я не думаю, чтобы Он боялся, но Он был совсем растерян, иначе при Его политических вкусах, конечно, Он не пошел бы на конституцию.

Государь по натуре индифферент – оптимист. Такие лица ощущают чувство страха только, когда гроза перед глазами и, как только она отодвигается за ближайшую дверь, оно мигом проходит. Их чувство притуплено для явлений, происходящих на самом близком расстоянии пространства или времени. Мне думается, что Государь в те дни искал опоры в сил, Он не нашел никого из числа поклонников силы – все струсили, а потому Сам желал манифеста, боясь, что иначе Он совсем стухнет. Кроме того, в глубине души не может быть, чтобы Он не чувствовал, что главный, если не единственный, виновник позорнейшей и глупейшей войны, это Он; вероятно, Он инстинктивно боялся последствий этого кровавого мальчуганства из за угла (ведь, сидя у себя в золотой тюрьме, ух, как мы храбры...), а потому, как бы искал в манифесте род снискания снисхождения или примирения. Когда 17-го утром после свидания Его Величества с Великим Князем Николаем Николаевичем, Великий Князь, барон Фредерикс и я пришли к Нему и поднесли для подписи манифест и для утверждения мой доклад, то Он, обратившись ко мне, сказал, что решил подписать манифест и утвердить доклад.

Затем, Он сел у стола, ранее вставши, чтобы перекреститься, а потом подписал манифест и доклад. Это происходило в Его маленьком дворце (который был построен, когда Он еще был Наследником и в котором он всегда жил) в Петергофе на берегу моря, в Его кабинете, не у стола, стоящего на возвышенности, где Он принимает доклады, а на столе, на котором Он занимается, стоящем в середине комнаты.

В октябрьские дни (т. е. с 6-го по 17-ое) Великие Князья, кроме Николая Николаевича, по-видимому, не видали Государя. Императрица Мария Феодоровна была в Дании. 15-го граф Ламсдорф мне говорил, что наш посланник в Дании едет в Петербург из Копенгагена с каким то поручением. Затем, 18 или 19 был у меня Извольский, расспрашивал о 17 октября и сказал мне, что он приехал сюда из Копенгагена с поручением от Марии Феодоровны передать Его Величеству, что по мнению Императрицы нужно дать конституцию, но что он опоздал. Тоже мне затем передавал граф Ламсдорф, но я не знаю, передавал ли будущий министр иностранных дел Государю о своем поручении или нет.

Тогда я не обратил на это никакого внимания и мне было не до того. Я, кажется, даже забыл отослать свою карточку Извольскому. Императрица Мария Феодоровна вернулась значительно позже 17 октября. После Ее приезда я у нее был в Гатчине. Она, по обыкнове-

нию, меня приняла очень ласково, что имело место всегда после смерти Императора Александра III. Это был последний раз (до настоящего времени), когда я наедине довольно долго с Ней говорил. Относительно 17 октября Она мне сказала, что в Петергофе Ей сказали, что манифест был вырван. Я Ей доложил, как было дело. Относительно настоящего и будущего положения дел я Ей объяснил, что положение очень серьезное, море бушует и нужно много хладнокровия, выдержки и твердости, чтобы море успокоилось, причем я ей высказал, что, как это обнаруживается с каждым днем все более и более, я управлять страной не могу.

Государем владеет Трепов, он – Трепов, а не Государь пишет мне резолюции. Государь уже мне не доверяет. При таком направлении дел ничего кроме постоянной чепухи происходить не может. Или пусть Государь мне доверяет, или пусть передаст власть Трепову или тому, кому Он доверяет, а таким образом невозможно вести дело. На это Императрица мне буквально ответила следующее: «Вы хотите сказать, что Государь не имеет ни воли, ни характера – это верно, но ведь в случае чего либо Его заменит Миша (Великий Князь Михаил Александрович). Я знаю, что Вы Мишу очень любите, но поверьте мне, что он имеет еще менее воли и характера». Я на это ответил: «Вы, может быть, правы, но от этого не легче». Не знаю, передала ли Императрица – мать своему Августейшему сыну настоящей разговор? Думаю, что да.

В октябрьские дни, во время свиданий с Его Величеством, перечисленных в вышеприведенной Высочайше подтвержденной справке, я имел случай высказать довольно много мыслей по собственной инициативе или же вследствие вопросов или суждений высказанных присутствующими. Когда я докладывал в присутствии Императрицы Александры Федоровны, Она не выронила ни одного слова, сидела, как автомат, и по обыкновению краснела, как рак.

Во время этих свиданий я, между прочим, высказал следующие мнения. Люди созданы так, что стремятся к свободе и к самоуправлению. Хорошо ли это для человечества вообще или для данной нации в частности, это вопрос с точки зрения практики государственного управления довольно праздный, как, например, праздный вопрос – хорошо ли, что человек до известного возраста растет или нет? Если во время не давать разумные свободы, то он сами себе пробьют пути. Россия представляет страну, в которой все реформы по установлению разумной свободы и гражданственности запоздали и все болезненные явления происходят от этой коренной причины. Покуда не было несчастной войны, прежний режим держался, хотя в последние годы перед войной он уже претерпевал потрясения; несчастная война пошатнула главное основание того режима – силу и, особенно, престиж силы, сознание силы.

Теперь нет выхода без крупных преобразований, могущих привлечь на сторону власти большинство общественных сил. Тем не менее я не советовал действовать скоропалительно, но принять твердые решения и, затем, от них не отступать и дать убеждение России, что принятые решения бесповоротны. Я говорил Государю, что будет хуже всего, если Он примет какое либо решение вопреки своему убеждению или инстинкту, ибо решение это не будет прочно.

Высказывая самым определенным образом свои убеждения, резюмированные в опубликованном 17 октября моем всеподданнейшем докладе, Высочайше утвержденном, я вместе с тем многократно повторял, что я, может быть, ошибаюсь, а потому усиленно советовал обратиться к другим государственным деятелям, которым Государь доверяет, но, конечно, я не посоветовал это делать исподтишка, по секрету, а в особенности, не посоветовал бы совещаться с такими ничтожествами, как Горемыкин, Будберг, не говоря уже о царедворственных лакеях по призванию (так душа создана). Зная, что Его Величество не обладает способностью понимать реальную сложную обстановку, я, в особенности, указывал на то,

что положение так болезненно, что на скорое успокоение рассчитывать невозможно, какое бы решение не принять. Когда я видел, что Его Величество желает (*faute de mieux*) возложить все бремя власти на меня, я счел нужным выяснить ему положение вещей следующим примером.

«Приходится переплыть разбушевавшийся океан. Вам советует одно лицо взять такой то курс и сесть на такой то пароход, другое лицо – другой курс и другой пароход, третий – третий и т. д. На какой бы вы пароход ни сели и какой бы вы курс ни взяли – переплыть океан без некоторой опасности, а в особенности, без больших аварий будет невозможно. Я уверен, что мой пароход и мой курс будет менее опасными и во всяком случае с точки зрения будущего России наиболее целесообразными.

Но если Вы решитесь поехать на моем пароходе и взять мой курс, то вот что произойдет, Ваше Величество. Когда мы отойдем от берега, начнет качать, затем, будут ежедневные аварии – то, что либо в машине сломается, то те или другие палубные части будет сносить, то снесет тех или других спутников и тогда Вам сейчас же начнут говорить – вот, если бы Вы поехали на другом пароходе, то этого не было бы, если бы Вы взяли другой курс, то этого не случилось бы и проч. и проч.

Так как подобные утверждения проверять нельзя, то всему можно поверить и тогда начнутся сомнения, дергания, интриги и все это для меня, несомненно, а главное, для дела кончится очень плохо...»

Государь это выслушал и показывал, что мне верит, но, конечно, то, что я предвидел, и случилось. Что же касается уверений Государя, то я уже тогда знал, что Ему вообще нельзя верить.

Он Сам себе не должен верить, ибо человек без направлений сам не может направиться, его направляют ветры и, к сожалению, большею частью даже из не хороших источников. Я счел необходимым и нравственно себя обязанным указать Государю еще на следующее весьма важное обстоятельство, хотя по понятной причине мне было это тяжело высказать моему Государю, которого я знал с юности, которому служил с первого дня Его царствования, и который есть сын того Императора, перед памятью которого я молитвенно преклоняюсь.

Я обратил внимание Его на то, что все мы живем под Богом; если, чего Боже сохрани, с Ним что-нибудь случится, то останется младенец Император и регент Михаил Александрович, совсем к управлению не подготовленный. Россия после Бирона не знала регентов; и это может произойти во время самой глубокой революции – не так еще действий, как духа России. Положение делается для династии совершенно безвыходным. В виду этого необходимо, чтобы режим управления оперся на широкую платформу, на платформу русского общественного сознания, хотя бы со всеми недостатками, присущими сознанию толпы, в особенности, малокультурной. Я говорил, что лучше воспользоваться, хотя и неудобной гаванью, но выждать бурю в гавани, нежели в бушующем океане на полугнилом корабле.

После подписания 17 октября манифеста и утверждения моего доклада мы сели на пароход и пошли обратно в Петербург, куда вернулись к обеду. Ехал Великий Князь Николай Николаевич, барон Фредерикс, я, князь Оболенский и Вуич... Великий Князь был в хорошем расположении духа, тоже и барон Фредерикс, который, впрочем, лишен способности понимать что либо мышлением. Князь Оболенский был в восторженно-невменяемом расположении. В последние дни перед 17-м он неотступно ходил за мною, все уверяя, что все потеряно, если немедленно не последует манифест, что не помешало ему через несколько дней после подписания манифеста, когда все поуспокоилось и страх в нем несколько улегся, заявить мне, что самый большой грех его жизни, который он никогда себе не простит, это то, что он так настаивал передо мною на манифест.

Теперь в Виши, тому назад две недели, П. Н. Дурново мне говорил, что будто именно князь Оболенский устроил свидание Великого Князя Николая Николаевича с Ушаковым, и что он ему как будто хвастал, что благодаря ему последовал манифест, что это он устроил через Нарышкина. Я этому не поверил, а потому, не зная, на сколько это верно, думаю, что скорее это было маленькое хвастовство. Одно несомненно, что князь Алексей Дмитриевич Оболенский мелкий человек, либеральный дворянин, философ училища правоведения.

Великий Князь, обратившись ко мне, сказал: «Сегодня 17-е – это знаменательное число. Второй раз в это число спасается Императорская семья (Борки)». Привожу этот эпизод лишь для характеристики настроения. Я же был совсем не в радужном настроении. Я отлично понимал, что придется много испытать, главное же, зная Государя, я предчувствовал, что Он и в без того трудное положение внесет еще большие трудности и, в конце концов, я должен буду с Ним расстаться.

В Петербурге все ждали, чем это все кончится. Знали, что ведутся какие то переговоры со мною и с другими лицами, что идет какая то борьба, и ждали, чья сторона возьмет верх, граф Витте – что представляло синоним либеральных реформ, или появится последний приступ мракобесия, который на этот раз, как того с нетерпением ожидали все революционеры, совсем свалить Царствующий дом. Надежды эти были весьма основательны, так как Царь возбуждал или чувство отвращения, злобы или чувство жалостного равнодушия, если не презрения; Великие Князья были совсем или скомпрометированы, или безавторитетны; правительство, не имея ни войска, ни денег и не имея способности справиться с общим неудовольствием и бунтами, окончательно растерялось.

Вечером знали о манифесте 17 октября не только в Петербурге, но и в провинциях. Такого крупного шага не ожидали. Все инстинктивно почувствовали, что произошел вдруг «перелом» России XX-го столетия, но «перелом» плоти, а не духа, ибо дух может лишь погаснуть, а не переломиться. Сразу манифест всех ошеломил. Все истинно просвещенные, не озлобленные и не потерявшие веру в политическую честность верхов, поняли, что обществу дано сразу все, о чем оно так долго хлопотало и добивалось, в жертву чего было принесено столь много благородных жизней, начиная с декабристов. Озлобленные, неуравновешенные и потерявшие веру в Самодержавие считали, что вместе с режимом должны быть свалены и его высшие носители и, конечно, прежде всего, Самодержец, принесший своими личными качествами столько вреда России.

Действительно, Он Россию разорил и сдернул с пьедестала и все только благодаря своей «Царской ничтожности».

Многие побуждались к сему соображением, что Он сдался испугавшись, а как только Его немного укрепят, Он на все начхнет (что, между прочим, Он проделал и со мной) и всему даст другое толкование. Я, мол, пошутил, или Меня обманули, или найдет самые разнообразные толкования в Монблане русских законов и будет давать в каждом данном случае желательное по данному времени направление. А ведь лишь бы Царь пожелал плавать в этом болоте лжи и коварства, а охотников с Ним в этом болоте полоскаться всегда найдутся сотни, если не тысячи. Многие, если не все инородцы, которые так много натерпелись от различных мер, против них направленных, начиная с последних годов царствования Императора Александра II и затем усилившихся в царствование Императора Александра III и уже без удержки применявшихся в безумное царствование Императора Николая II, конечно, были рады несчастьям России.

Они с значительным увлечением, всегда присущим смутным временам, ждали своего рода освобождения от «русско-монгольского» ига. Всякая молодежь всегда склонна к увлечениям.

Русская молодежь к сему была особенно склонна, отчасти из за общей атмосферы малокультурной России, отчасти из за тех принципов общего управления, из за всей административно-государственной жизни, в атмосфере которой она жила.

Принципы не соответствовали, однако, тем культурным прогрессивным идеям, которыми их учили в школах, в особенности, в высших, и которые проповедывались печатно, хотя в сдержанно-цензурных формах, массою писателей. Многие из них временно гремели не столько благодаря своим талантам, сколько благодаря тем прогрессивным, бегающим идеям, которые они проповедывали.

Достаточно вспомнить, что в так называемый писаревские времена (60–70 гг.) Пушкин был выкинут в сор, а Некрасов поднят на поэтический пьедестал, главным образом не из за поэзии, а за политические претензии в его стихах содержащиеся. Вся русская молодежь уже во времена министра внутренних дел Горемыкина кипела и с тех пор т. е. в течение 11 лет кипение это все более и более усиливалось и дошло во времена Булыгина – Трепова до безумного бурления. А ведь молодежь, а в особенности университетская, более чем кто либо способна на всякие эксцессы, на восприятие всяких умственных и духовных болезненных эпидемий.

Что собственно представляет собою молодежь? Ведь это зеркало, часто дающее преувеличенные, но все таки в общем верные изображения духовного состояния общества, т. е. мыслящей России. Для того, для которого это представляет несомненную истину, достаточно изучить жизнь высших школ за время царствования Императора Николая II, чтобы понять, что все назрело для того, чтобы даже при малейшей неосторожности нарыв лопнул. А тут вышла не неосторожность, а из ряда вон выходящее мальчишеское безумие – японская война, несомненно нами вызванная.

Замечательно, что главным образом во время войны кипение в высших учебных заведениях заразило почти все средние учебные заведения и не только мужские, но и женские. Вся молодежь сыграла громадную роль в так называемых беспорядках, предшествующих 17 октября. 17 октября произвело одновременно перелом в обществе, а потому и в молодежи, но конечно в октябрьские дни молодежь находилась, если можно так выразиться, в революционном недоумении, а так как молодежи внушали «не верьте, 17 октября есть ничто иное, как маневр», то естественно, что молодежь находилась в полном революционном недоумении, бросаясь то к гимну «Боже Царя храни», то в громадном большинстве случаев к русской марсельезе.

Громадную роль в событиях 17 октября и в последующее время сыграли социалистические идеи в различных видах и формах, отрицающие и колеблющие право собственности по принципам римского права, мысли Толстого, учение Маркса и, наконец, просто «экспроприация» или грабеж под фирмою «анархического социализма». Эти социалистические идеи вообще сделали большие завоевания в Европе и в последнее полу столетие и нашли себе отличную ниву в России вследствие неуважения прав вообще и в частности права собственности со стороны властей и малой культурности населения.

Когда революционеры начали сулить рабочим фабрики, а крестьянам барскую землю и им доказывать, что в сущности это им и принадлежит, а только неправильно от них отнято, то понятно, что рабочие были охвачены дикими забастовками, а крестьяне «красным петухом» или по преступному ораторскому изречению в первой Государственной Думе Герценштейна «иллюминациями» (даже с ораторской точки зрения это только плагиат из речи одного из ораторов в эпоху французской революции). Эти явления весьма содействовали революционным вспышкам после 17-го октября в течение первых трех, четырех месяцев. *

Глава тридцать пятая

Первые дни моего премьерства

* Вернувшись 17 октября к обеду домой, я на другой день должен был снова поехать в Петергоф, чтобы объяснить относительно министерства. Одобрение моей программы в форме резолюции «принять к руководству» и подписание манифеста 17 октября, который в высокочественной форме окончательно и бесповоротно вводит Россию на путь конституционный, т. е. в значительной степени ограничивающий власть Монарха и устанавливающий соотношение власти Монарха и выборных населения, отрезал мне возможность уклониться от поста председателя совета министров, т. е. от того, чтобы взять на себя бразды правления в самый разгар революции.

Таким образом, я очутился во главе власти вопреки моему желанию после того, как в течение 3–4 лет сделали все, чтобы доказать полную невозможность Самодержавного правления без Самодержца, когда уронили престиж России во всем свете и разожгли внутри России все страсти недовольства, откуда бы оно ни шло и какими бы причинами оно ни объяснялось. Конечно, я очутился у власти потому, что все другие симпатичные Монаршему сердцу лица отпраздновали труса, уклонились от власти, боясь бомб и совершенно запутавшись в хаосе самых противоречивых мер и событий.

Повторилось то, что случилось перед Портсмутом: точно так, как тогда Государь был вынужден обратиться ко мне, чтобы я принял на себя тяжелую миссию ликвидировать постыдную войну, ибо Нелидов (посол в Париже), Муравьев (посол в Риме), кн. Оболенский (В. С. – товарищ министра иностранных дел) от сей чести отказались, один по старости, другой по болезни, а третий по добросовестности, чувствуя себя к сему неспособным и точно так и теперь Государь был вынужден обратиться ко мне, потому что Горемыкин уклонился, гр. Игнатъев испугался, а Трепов запутался в противоречиях и не знал, как удрать от хаоса, который в значительной степени им самим же был создан. Как в первый раз, так и теперь, во второй, я волею Государя был брошен в костер с легким чувством: «если, мол, уцелеет, можно будет затем его отодвинуть, а если погибнет, то пусть гибнет. Неприятный он человек, ни в чем не уступает и все лучше меня знает и понимает. Этого Я терпеть не могу».

В Петергофе я успел объяснить только по следующим вопросам. Во-первых было решено, что обер-прокурор Победоносцев оставаться на своем посту не может, так как он представляет определенное прошедшее, при котором участие его в моем министерстве отнимает у меня всякую надежду на водворение в России новых порядков, требуемых временем.

Я просил на пост обер-прокурора святейшего синода назначить князя Алексея Дмитриевича Оболенского. С какой легкостью Государь расставался с людьми и как Он мало имел в этом отношении сердца, между тысячами примеров может служить пример Победоносцева.

Его Величество сразу согласился, что Победоносцев остаться не может, и распорядился, чтобы он оставался в Государственном Совете, как рядовой член, и на назначение вместо него князя Оболенского. Затем мне пришлось ходатайствовать, чтобы за Победоносцевым осталось полное содержание и до его смерти, чтобы он оставался в дом обер-прокурора на прежнем основании, т. е. чтобы дом содержался на казенный счет. Я кроме того заезжал к министру двора обратить его внимание на то, чтобы со стариком поступили возможно деликатнее, и чтобы Его Величество ему Сам сообщил о решении частно.

Если бы я об этом не позаботился, то Победоносцев просто на другой день прочел бы приказ о том, что он остается просто рядовым членом Государственного Совета, и баста. Между тем, можно иметь различные мнения о деятельности Победоносцева, но несомненно, что он был самый образованный и культурный русский государственный деятель, с которым мне приходилось иметь дело. Он был преподавателем Цесаревича Николая, Императора Александра III и Императора Николая II. Он знал Императора Николая с пеленок, может быть, поэтому он и был о Нем вообще минимального мнения.

Он Ему много читал лекций, но не знал, знает ли его ученик, что либо или нет, так как была принята система у ученика ничего не спрашивать и экзамену не подвергать. Когда я еще не знал Николая II, когда я только что приехал в Петербург и скоро занял пост министра путей сообщения и спросил Победоносцева: «Ну, что же Наследник занимается прилежно, что Он собою представляет как образованный человек?», то Победоносцев мне ответил: «право не знаю, на сколько учение пошло впрок».

Тогда же было решено, что не может оставаться министром народного просвещения ген. Глазов, который был министром народного просвещения только по «самодержавному» недоразумению или произволению. Я же тогда еще не решил, кто должен быть министром народного просвещения. Было решено также, что должен уйти Булыгин, министр внутренних дел, честный, прямой и благородный человек, бывший отличным губернатором, затем помощником Московского генерал-губернатора и назначенный министром внутренних дел вопреки своему желанно только потому, что Петербургский генерал-губернатор, а затем товарищ министра внутренних дел Трепов пожелал, чтобы министром был Булыгин, с которым он служил в Москве.

Трепов же пожелал иметь министром Булыгина для того, чтобы в сущности сделаться диктатором. Он и стал диктатором и способствовал окончательному доведению России до революции. Булыгин, как честный, уравновешенный человек, конечно, ужиться с дикими приемами своего товарища, а в сущности диктатора, не мог, а потому постоянно просился, чтобы его отпустили, но Государь, конечно, не отпускал, несомненно ценя в Булыгине свойства ширмы и только.

Затем было в принцип решено, что я могу привлечь на посты министров и общественных деятелей, если таковые могут помочь своею репутацией успокоить общественное волнение.

Итак, в ближайшие дни помимо меня последовал уход Победоносцева и Булыгина, а также ген. Глазова, который был назначен помощником командующего войсками московского военного округа, и одновременно последовало назначение князя А. Д. Оболенского обер-прокурором Святейшего Синода.

На следующий день я пригласить к себе представителей прессы, находя, что пресса может оказать наиболее существенное влияние на успокоение умов. Действительно, кажется, 19 октября утром, ко мне (на Каменноостровский пр.) явились представители большинства петербургских газет. Отчет об этом собеседовании появился на следующий день во всех газетах и с особою подробностью в «Биржевых Ведомостях», вероятно, потому что издатель и хозяин этой газеты, состоящей таковым и до сих пор, Проппер, преимущественно и даже почти исключительно говорил со мною от всей прессы в присутствии представителей почти всех газет. Пропперу никто из присутствующих не противоречил несмотря на крайние его взгляды в смысле революционном. Представители правых газет – «Петербургских Ведомостей» (кн. Ухтомский), «Нового Времени» (Суворин). «Света», «Гражданина» как бы молчалим подтверждали, скажу откровенно, довольно нахальные в особенности по тону (свойственному образованным евреям, преимущественно русским) не то требования, не то заявления.

Представителями крайней левой прессы, кажется, «Богатства» делались заявления столь же крайние, но в устах их эти заявления были понятны, ибо они всегда составляли убеждения этих почтенных господ, да и тон их заявлений был другой. Иначе звучали заявления эти в устах Проппера, высказанные в весьма развязном тоне, того Проппера, который явился в Россию из за границы в качестве бедного еврея, плохо владеющего русским языком, который пролез в прессу и затем сделался хозяином «Биржевых Ведомостей», шляясь по передним влиятельных лиц, того Проппера, который вечно шлялся по моим передним, когда я был министром финансов, который выпрашивал казенные объявления, различные льготы и, наконец, выпросил у меня коммерции советника.

Значит, действительно случилось в России и прежде всего в этом изгнившем Петербурге что то особенное, какой то особый вид умственного помешательства масс, коль скоро такой субъект заговорил таким языком, а остальные представители прессы или потакали ему или молчали.

Будущей историк удивительного периода истории русской жизни во время царствования Императора Николая, который пожелал бы ознакомиться с историей акта 17 октября, пусть обратится к отчету, появившемуся в газетах («Биржевые Ведомости») об указанном собеседовании со мною представителей прессы (наверное, найдет в Публичной библиотеке). Конечно, эти отчеты очень произвольны и субъективны, но этот их характер еще более обрисовывает то психическое состояние русского общества, в котором оно находилось в октябрьские дни.

Что же собственно заявлял мне г. Проппер в присутствии представителей всей прессы?

– «Мы правительству вообще не верим». Согласен, что оно, когда начнет говорить о либеральных мерах часто не заслуживает доверия. Теперь Столыпинский режим это нагляднее всего показывает. Если будет когда либо издан сборник его речей в первой, второй и третьей Думе, то всякий читатель подумает, – какой либеральный государственный деятель, и одновременно никто столько не казнил и самым безобразным образом, как он – Столыпин, никто не произвольничал так, как он, никто не оплевал так закон, как он, никто не уничтожал так хотя видимость правосудия, как он – Столыпин, и все сопровождая самыми либеральными речами и жестами. По истине, честнейший фразер.

Но все-таки не Пропперу было мне после 17 октября заявлять, что он правительству не верит, а в особенности с тем нахальством, которое присуще только некоторой категории русских «жидов».

Затем г. Проппер заявил требование, чтобы все войска были выведены из города и охрана города была предоставлена городской милиции. Это, конечно, революционное требование. С моей точки зрения для лица, которому была вручена власть и которое и являлось ответственным за ее действия, такое требование было особенно не приемлемо, ибо, конечно, я отлично понимал, что если я это сделаю, то сейчас же начнутся в городе грабежи и убийства, что мне через несколько дней придется ввести в город войска и пролить кровь тысяч людей. Между тем, что я себе ставлю в особую заслугу, это то, что за пол года моего премьерства во время самой революции в Петербурге было всего убито несколько десятков людей и никто не казнен. Во всей же России за это время было казнено меньше людей, нежели теперь Столыпин казнит в несколько дней во время конституционного правления, когда по общему официальному и официозному уверению последовало полное успокоение. При этом казнит совершенно зря: за грабеж казенной лавки, за кражу 6 руб., просто по недоразумению и т. под. Одновременно убийца гр. А. П. Игнатьева и подобные преступники часто не казнятся.

А убийцы из союза русского народа «жидов», а в особенности больших «жидов» – Герценштейна, Иоллоса, или поощряются, или же скрываются, если не за фалдами, то за тенью министров или лиц еще более их влиятельных.

Можно быть сторонником смертной казни, но Столыпинский режим уничтожил смертную казнь и обратил этот вид наказания в простое убийство, часто совсем бессмысленное, убийство по недоразумению. Одним словом, явилась какая то мешанина правительственных убийств, именуемая смертными казнями. Если бы требования г. Проппера от имени прессы, по крайней мере в присутствии почти всех представителей, сделал представитель какого либо крайне левого листка, социалистического или анархического направления, я бы его понял, но в устах Проппера при молчаливом участии остальных представителей печати, требования эти для меня служили признаком обезумения прессы. Проппер также при одобрении всех представителей прессы заявил требование об немедленном удалении ген. Трепова.

Само собой разумеется, что, раз я стал председателем совета министров, диктатор Трепов оставаться не мог, но такое требование в устах Проппера лишило меня возможности сейчас же расстаться с Треповым, который, запутавшись, жаждал удалиться к более благоприятной для своей особы роли, и, вопреки просьбы Трепова, дать ему сейчас же возможность улепетнуть, я был вынужден задержать его некоторое время (недели две), так как немедленное удаление его имело бы вид моей слабости, т. е. слабости власти, мне врученной. И, опять таки, кто предъявил это требование? Господин Проппер – тот самый, который ранее, а, вероятно, и после готов бы был поспать в приемной часок, другой, чтобы затем выхлопотать у Его Высокопревосходительства для своей газеты ту или другую льготу... Далее г. Проппер требовал всеобщей амнистии, и опять столь же нахальным тоном.

При подобных требованиях для меня было ясно, что опереться на прессу невозможно, и что пресса совершенно деморализована. Единственные газеты, который не были деморализованы, это крайне левые, но пресса эта открыто проповедывала архидемократическую республику. Вся полуеврейская пресса, типичным представителем которой являлся Проппер, вообразила, что теперь власть в их руках, а потому самозабвенно нахальничала, вся же правая поджала совсем хвост и, чувствуя, что именно те принципы, которые она так яро проповедовала (принципы самодержавия, понимаемого не как высокий долг святого служения народу, а как забава человека по умственному развитию вечно остающегося полу-ребенком и делающего то, что ему приятно), привели отечество в позорное состояние, замолкла и ожидала, куда судьба направит Россию. Наконец, везде наибольший успех с точки зрения коммерции (а все-таки главный стимул, направляющий большую часть прессы, это денежная выгода) имеют газеты типа «чего изволите», этим же газетам в то время было выгодно быть левыми, ибо этими левыми мыслями была поглощена почти вся читающая Россия.

Затем они поправились, а теперь черносотенствуют. Разительный пример такого направления представляет весьма талантливая и влиятельная газета «Новое Время», представляющая тип газетной коммерции, хотя, сравнительно, довольно чистоплотной и в некотором роде патриотической. Это все-таки одна из лучших газет.

Итак, ожидать помощи от помутившейся прессы я не мог, напротив того, газеты или желали, чтобы я был пешкою в их руках, или же ожидали тех или иных от меня благ: непосредственных (объявления, субсидии) или посредственных в смысле установления дальнейшего того или другого более или менее спокойного или, по крайней мере, определенного бытия. Через несколько дней после этого собеседования или, так сказать, конференции я узнал, в чем дело. Еще до 17 октября, в последние месяцы диктаторства Трепова, образовались всякие союзы, т. е. союзы различных профессий – союз наборщиков, союз техников и инженеров и т. п. и эти союзы представляли апофеоз русской революции осени 1905 года, они руководили забастовками и принципиальным слушанием правительству. В это же время был образован союз прессы в Петербурге, в этом союзе приняли участие почти все издания, в том числе и «Новое Время».

Союзом было решено не подчиняться цензурной администрации и, в случае напора правительственных властей, устраивать своего рода забастовки и пассивное сопротивление. В союз этот вошли и консервативные издания, т. е. консервативная пресса «чего изволите», потому что в то время, начиная с Гапоновской демонстрации рабочих с расстрелом сотней из них, приобрели особую силу всякие рабочие союзы, а в том числе союз наборщиков. Можно сказать, что редакции были в руках своих рабочих – наборщиков, а потому не только в виду общего тяготения к либеральным идеям, но и по карманным соображениям, почти все газеты революционировали и, во всяком случае, значительно способствовали революционированию масс или, точно говоря, внесению в массы самых смутных течений, в общем сводящихся к опорочиванию существовавшего режима и к водворению общей ненависти как к режиму, так и к его слугам.

Вот почему, когда Проппер предъявлял мне, как председателю совета министров, нахальные требования, он встречал молчаливое согласие с ним представителей всей петербургской прессы. Конечно, Проппер от имени прессы предъявил требование и о полной свободе прессы, на что я ответил, что, покуда не будет издан новый закон о печати, должен исполняться старый, но что я ручаюсь, что цензура будет держать себя в смысле оповещенной манифестом 17 октября свободы слова. Это я и исполнил.

Вся пресса должна признать, что никогда в России, считая до сегодняшнего дня, печать не пользовалась фактически такою свободой, какую она пользовалась во время моего министерства. Никакие нападки на меня и мое министерство, делаемые в самых грубых и лживых формах, за время моего министерства не вызвали ни одной репрессивной меры. Были приняты меры против некоторых газет лишь через некоторое время после 17 октября, когда появился манифест союза рабочих, требующий прекращения внесения золота в кассы, востребования вкладов из сберегательных касс и вообще вносивший общую панику в публику относительно состоятельности государства исполнить принятые на себя обязательства; и то меры эти были приняты только относительно тех газет, которые не желали исправить свою ошибку, которые как бы являлись солидарными с революционным манифестом, который имел в виду поставить государство в положение банкротства.

Конечно, ни одно правительство самой наилиберальнейшей страны не допустило бы, или, вернее, не оставило бы безнаказанным такие явно революционные выступления, причем выступления со сведениями заведомо ложными, рассчитанными на невежество толпы и общую умственную и душевную смуту или, вернее, на общий психический кавардак. Подобные революционные выступления, широко поддерживаемые прессой, имели решительные успехи так в самое короткое время было взято из сберегательных касс вкладов более чем на 150 милл. руб. Такая паника после несчастной войны, стоившей около 2500 милл. руб., конечно, поставила наши финансы и денежное обращение в самое трудное, скажу, отчаянное положение, и одной из главных моих задач явилось, не допустить государственных финансы до банкротства. Но об этом я буду иметь случай говорить дальше.

Возвращаясь к сказанному инциденту с манифестом совета союза рабочих, вспоминаю маленький, но характеристичный случай, происшедший с «Новым Временем», рисующий моральное состояние прессы в то время и специально аллюры газеты «чего изволите», т. е. «Нового Времени».

Когда появился сказанный манифест, я собрал совет министров, на котором было принято решение, что относительно тех газет, которые его пропечатают, с целью его распространения, будут приняты экстраординарные меры. Зная давно Алексея Сергеевича Суворина, зная всю вертлявость «Нового Времени» и желая уберечь Алексея Сергеевича от урона, после принятого советом решения я его вызвал по телефону и имел с ним приблизительно следующий colloquium:

«Вы знаете о появившемся возмутительнейшем манифесте, прямо враждебном родине?» – «Да, слышал». – «Ну, как же вы думаете к нему отнестись, думаете отпечатать в утреннем номере?» – «Не знаю». – «А я вам советую узнать». – «Кажется, мои его завтра выпустят, что я с ними сделаю?» – «Ну, Алексей Сергеевич, предупреждаю вас, что вам, т. е. „Новому Времени“, от этого не поздоровится, а затем делайте, как хотите». Далее я оборвал разговор.

На другой день вышло «Новое Время» без манифеста. По справке оказалось, что манифест был набран и должен был появиться через несколько часов в «Новом Времени», но мое предупреждение всполошило Суворина, который забил тревогу, и манифест был выпущен.

Вообще, в то время газеты были в руках наборщиков, так как издатели, руководимые коммерческим расчетом, опасались забастовок. «Новое Время», в том числе Алексей Сергеевич Суворин и пресловутый Меньшиков, висли между адом и раем, а когда мне удалось погасить пароксизмы революции, то эти самые господа самым наглым образом начали обвинять меня в слабости, совсем упуская из виду, что, если они сожалеют об недостаточной силе плети и расстрелов, то, ведь, они сами прежде всего должны бы были испробовать на себе плеточный способ лечения от умопомешательства.

Само собой разумеется, что после 17 октября не мог остаться в моем министерстве воплощенный интриган Великий Князь Александр Михайлович, да, в сущности, не мог остаться ни в каком министерстве при режиме, основанном на народном представительстве, т. е. на парламентах. Поэтому явился вопрос, что же мне делать с этим великокняжеским ублюдком, созданным из одного отделения департамента торговли и мануфактур министерства финансов. Я мог или вернуть эту часть министерству финансов, а то, что было взято из министерства путей сообщения (порты), вернуть в это министерство, или образовать из него министерство торговли, выделив из министерства финансов, которое было вместе с тем и министерство торговли, все, что касается торговли и промышленности. Я решился на последнее и Его Величество изъявил свое согласие. Но тут явилось некоторое замедление, так как мне нужно было предупредить об этом моем решении министра финансов Кокорцева, представляющего собою пузырь, наполненный петербургским чиновничьим самолюбием и самообольщением. До того времени вопрос об управлении торгового мореплавания несколько дней находился в воздухе, но Великий Князь Александр Михайлович удалился и временно остался его помощник Рухлов (нынешний министр путей сообщения), который знал, что должен будет из министерства моего тоже удалиться, так как я не желал иметь в его лице соглядатая Великого Князя Александра Михайловича.

В первые дни после 17 октября было необходимо решить вопрос о назначении, вместо генерала Глазова, министра народного просвещения. Это назначение было особенно важно, так как все учебные заведения министерства народного просвещения или бастовали или занимались болте политикою нежели учением. Политика проникла и во все средние, как мужские, так и женские учебные заведения. Я остановился на члене Государственного Совета и сенатор, известном юристе-криминалисте, заслуженном профессоре Петербургского университета Таганцеве, человеке весьма либеральных, но разумных идей, пользовавшемся большою популярностью в университетском мире, поныне находящемся в Государственном Совете на хребте или переломе так называемого центра (Столыпинских угодников) и левых. Я просил его заехать ко мне. Он приехал, и я ему передал мое предложение занять пост министра народного просвещения, на что Его Величество изъявил согласие. При этом я ему советовал взять в товарищи Постникова, декана экономического отделения (ныне директора) Петербургского политехникума.

Против последнего он не возражал, а относительно поста министра народного просвещения просил дать подумать сутки, причем он мне заявил, что он чувствует себя несколько больным нервами.

Кто в это время не был болен нервами? И я тоже был совсем болен, особенно после поездки в Америку.

У меня также был Постников, я его предупредил о предположении предложить ему пост товарища министра народного просвещения и просил его повидаться с Таганцевым. На другой день они оба пришли и произошло следующее. Таганцев, очень взволнованный, заявил мне, что он не чувствует себя в силах принять мое предложение, я его начал уговаривать и это продолжалось несколько минут. Он схватил себя за голову и, с криком «не могу, не могу», убежал из моего кабинета; я вышел за ним, но его уже не было, он схватил пальто и шапку и убежал. Постников мне говорил, что он его тоже пробовал уговаривать, но не смог. По-видимому, в то время, перспектива получить бомбу или пулю никого не прельщала быть министром.

Затем я решил, ранее чем решать дальнейшие вопросы о министерстве, призвать общественных деятелей, которым можно было бы предложить войти в министерство. Я остановился на Шипове (известном земском деятеле, затем бывшем членом Государственного Совета от Московского земства), полагая предложить ему пост государственного контролера, Гучкове (нынешнем лидере октябристов в Государственной Думе, а до 17 октября шедшем вместе с кадетами Милюковым, Маклаковым, Герценштейном и пр.), полагая предложить ему пост министра торговли, князе Трубецком (профессоре Московского университета, тогда профессоре Киевского университета, затем члене Государственного Совета), М. А. Стаховиче (предводителе Орловского дворянства, ныне члене Государственного Совета), которому я предполагал предоставить место одного из товарищей министров, наконец, кн. Урусове (бывшем при Плеве Кишиневским, а потом Тверским губернатором, затем членом первой Государственной Думы), брате жены несчастного Лопухина. Шипова я лично знал, хотя мало и во всяком случае, он такой человек, убеждения которого можно разделять или не разделять, но которого нельзя не уважать, так как он чисто и честно провел свою долговременную общественную жизнь.

Гучкова я лично совсем не знал, знал, что он из купеческой известной московской семьи, что он университетский, бравый человек и пользовался в то время уважением так называемого съезда общественных (земских и городских) деятелей. Я после узнал, что это тот самый Гучков, которого я уволил из пограничной стражи восточно-китайской дороги, года два или три до моего с ним знакомства. По-видимому этот эпизод оставил в Гучкове довольно кислое ко мне расположение.

Стаховича я ранее порядочно знал. Это очень образованный человек, в полном смысле «gentilhomme», весьма талантливый, прекрасного сердца и души, но человек увлекающейся и легкомысленный русскою легкомысленностью, порядочный жуир. Во всяком случае это во всех отношениях чистый человек. Он также все время участвовал в съезде общественных деятелей до 17 октября и после, до первой Думы, куда он был выбран от Орловской губернии членом. Зная и рассчитывая, что он будет выбран, он от всякого правительственного поста в разговоре со мной отказался, но все время участвовал в совместных совещаниях сказанных общественных деятелей со мною. Вероятно, у того или другого из этих деятелей есть мемуары о нашем совещании, с объяснениями, почему мы разошлись.

Очень жаль, что я их не прочту, ибо я старше их летами.

Князя Трубецкого я тоже лично знал, но он был брат другого профессора князя Трубецкого, который Государю сказал прогремевшую речь и стал этим весьма популярен. Я говорю

о речи, сказанной им, когда он с некоторыми общественными деятелями, в том числе Петрункевичем, был принят Государем уже во время диктаторства Трепова.

Трепов имел наивную мысль, что, если Государь примет им выбранных из числа бунтующих рабочих после гапоновской истории, а затем таких же бунтующих общественных деятелей и скажет им по шпаргалке речь более или менее такого содержания:

«Я знаю ваши нужды, мною будут приняты меры, будьте покойны, верьте мне, тогда все пойдет прекрасно», то бунтующие растают, публика прольет слезы и все пойдет по старому; что подобные слова могут заставить забыть всю ужасную войну и всю мальчишескую политику, к ней приведшую, политику исключительного Царского произвола: «Хочу, а потому так должно быть».

Этот лозунг проявлялся во всех действиях этого слабого Правителя, который только вследствие слабости делал все то, что характеризовало Его царствование, – сплошное проливание более или менее невинной крови и большею частью совсем бесцельно...

Независимо от престижа брата, князь Трубецкой и лично пользовался в университетской среде прекрасной репутацией. Когда я затем, перед совещанием с вышепоименованными общественными деятелями в первый раз увидел и познакомился с князем Трубецким, сделал ему предложение занять пост министра народного просвещения и начал с ним объясняться, то сразу раскусил эту натуру. Она так открыта, так наивна и вместе так кафедротеоретична, что ее не трудно сразу распознать с головы до ног.

Это чистый человек, полный философских воззрений, с большими познаниями, как говорят, прекрасный профессор, настоящий русский человек, в неизгаженном (союз русского народа) смысле этого слова, но наивный администратор и политик. Совершенный Гамлет русской революции. Он мне, между прочим, сказал, что едва ли он, вообще, может быть министром и, в конце концов, и я не мог удержать восклицания – «кажется, вы правы».

О князе Трубецком я, конечно, ранее слышал, но о князе Урусове совсем не слышал. Князь Н. Д. Оболенский, уже назначенный обер-прокурором святейшего синода, мне его усиленно рекомендовал в министры внутренних дел. Я расспрашивал о его карьере, она оказалась без каких бы то ни было изъянов, если не считать изъяном невозможность ужиться с бессовестно-полицейскими приемами Плеве, но у меня явилось сомнение в том, может ли он занять столь ответственный пост, как министра внутренних дел и полиции, в виду полной неопытности его в делах полиции, особливо русской полиции, особого рода после всех провокаторских приемов, насажденных Плеве и Треповым, которые теперь начали проявляться (шила в мешке не утаишь), т. е. выплыли наружу (Азеф, Гартинг), несмотря на все желание Столыпина эти скандальные истории затушить.

Я высказал мои сомнения кн. Оболенскому, прося его не говорить кн. Урусову, что ему я намерен предложить именно пост министра внутренних дел, хотя князь Оболенский старался парировать мои сомнения соображением, что кн. Урусов очень тонкий человек и сумеет овладеть деликатным полицейским делом в Империи, преимущественно полицейской, а при теперешнем конституционном режиме Столыпина – Империи архи-полицейской, ибо суд окончательно подчинился полиции.

Я решил всех вышеупомянутых деятелей вызвать сразу, дабы иметь общее собеседование, что и поручил сделать князю Оболенскому, но проезд их замедлился, так как некоторые отсутствовали из их постоянного местожительства, а затем забастовка железных дорог задержала (например, князя Урусова, который оказался в Ялте) съезд на несколько дней.

Когда князь Урусов приехал и я с ним познакомился, он на меня произвел прекрасное впечатление, но мое предположение о том, что он не может сразу занять в такое трудное

время пост министра внутренних дел, подтвердилось из разговоров с ним. Было ясно, что он не будет иметь достаточный авторитет.

Я очень мало встречался с кн. Урусовым во время моего премьерства (он принял пост товарища министра внутренних дел), а после моего премьерства я его ни разу до сего времени не видал, но я не знаю ни одного до сего времени факта, который бы дурно рекомендовал его – князя Урусова. Я его считаю человеком порядочным, чистым, очень не глупым, но несколько увлекшимся. Но разве он один увлекся?..

По крайней мере он увлекся не эгоистично, а идейно и остался верным себе. А г. Гучков, ведь он исповедывал те же идеи, был обуян теми же страстями, как и кн. Урусов, и проявлял их более демонстративно, как до 17-го октября, так и после, а как только он увидел народного «зверя», как только почувял, что, мол, игру, затеянную в «свободы», народ поймет по своему, и именно прежде всего пожелает свободы – не умирать с голода, не быть битым плетью и иметь равную для всех справедливость, то в нем – Гучкове, сейчас же заговорила «аршинная» душа и он сейчас же начал проповедывать: «Государя ограничить надо не для народа, а для нас, ничтожной кучки русских, дворян и буржуа-аршинников определенного колера».

Итак, я был лишен возможности составить новое министерство, сочувствующее 17-му октябрю или, по крайней мере, понимающее его неизбежность в течение ближайших недель, что, конечно, содействовало общей неопределенности, растерянности власти в ближайшие 10–12 дней после 17 октября. Я это предвидел, что ясно из изложения моего, как появилось 17-ое октября.

В сущности, я должен был в это время один управлять Россией – Россией поднявшеюся, революционировавшеюся, не имея в своих руках никаких орудий управления сложным механизмом Империи, составляющей чуть ли не # часть всей земной суши с 150 миллионным населением. Если к этому прибавить, что забастовка железных дорог, а потом почты и телеграфа мешали сообщениям, передаче распоряжений, что 17-ое октября для провинциальных властей упало, как гром на голову, что большинство провинциальных властей не понимало, что случилось, что многие не сочувствовали новому положению вещей (например, Одесский градоначальник Нейдгардт), что многие не знали, в какую им дудку играть, чтобы в конце концов не проиграть, что одновременно действовала провокация, преимущественно имевшая целью создавать еврейские погромы, провокация, созданная еще Плеве и затем, во время Трепова, более полно и, можно сказать, нахально организованная, то будет совершенно ясно, что в первые недели после 17-го октября проявилась полная дезорганизация власти, как говорится, «кто шел в лес, а кто по дрова», одним словом, можно сказать, действовала сломанная неорганизованная власть, которую потом окрестили растерянной властью.

Я, с своей стороны, знаю, что я был безвластный, а затем все время моего премьерства, с властью, оскопленною вечною хитростью, если не сказать, коварством Императора Николая II, но никогда, ни во время моего министерства (с 20-го октября 1905 г. по 20-ое апреля 1906 г.), ни после его, когда правые организации не без ведома Царского Села, если не Императора, организовали против меня охоту, как на дикого зверя, посредством адских машин, бомб и револьверов, ни в настоящее время я себя не чувствовал и не чувствую растерянным.

Я теперь себя чувствую серьезно нервно расшатанным – расшатанным вследствие разочарования во многих из тех знаменосцев, которые ныне держат знамена, которым мои предки и я всю свою жизнь служили, и которым я не изменю до гроба, несмотря на все горькие и стыдные чувства, которые возбуждают во мне эти знаменосцы и, главнейше, их Царственный Глава.

Еще до 17-го октября у меня был товарищ министра внутренних дел Дурново (Петр Николаевич), который мне высказывал, что, куда будет у власти Трепов, будет произвол, куда же будет произвол, будут все революционные выступления. То же он считал нужным высказать и немедленно после 17-го октября, когда, вследствие оставления поста Булыгиным, он начал самостоятельно заведовать теми частями министерства внутренних дел, которых не касался Трепов или, вернее говоря, которых он считал возможным не касаться. При этих свиданиях он мне намекал, что единственно, кто мог бы удовлетворить требованиям для поста министра внутренних дел, это он. Он действительно прошел службу, давшую ему обширный опыт. Будучи сперва морским офицером, при преобразовании судебных учреждений в России, он сделался судебным деятелем и дослужился до товарища прокурора судебной палаты в Киеве. Я сам несколько раз слышал от графа Палена, который был министром юстиции в самые лучшие времена новых судебных учреждений, в первое десятилетие после их постепенного введения, что он уже тогда, в семидесятых годах, хорошо знал судебного деятеля Дурново и ценил его способности и энергию.

В начале восьмидесятых годов он – Дурново – был назначен директором департамента полиции вместо Плеве, назначенного товарищем министра, того Плеве, который еще не износил свою либеральную шкуру, в которой он преклонялся перед графом Лорис-Меликовым, хотевшим положить начало народного представительства, и затем перед графом Игнатьевым, носившимся с идеею земского собора, что в наши времена (после преобразований, начиная с Петра Великого) означает заведомый или наивный самообман.

Я очень мало, даже почти совсем не знаю деятельности Дурново, как директора департамента полиции, я имел лишь несколько раз случай слышать от лиц, имевших несчастье поделом или невинно попасть под фериулу этого заведения, что Дурново был директором довольно гуманным, но знаю по слухам причину его ухода. Дурново имел и до сего времени сохраняет некоторую слабость к женскому полу, хотя в смысле довольно продолжительных привязанностей. Будучи директором департамента, он увлекся одной дамой довольно легкого поведения и затем употребил своих агентов, чтобы раскрыть измену этой дамы с испанским послом посредством вскрытия из ящика стола сего посла писем этой дамы к послу. Затем, конечно, он сделал сцену этой особе, находившейся у него на содержании. Все это осталось бы неизвестным, если бы в данном случае дело не касалось испанского посла, который возьми да и напиши об этом Императору Александру III, и если бы не царствовал такой Император, который имел отвращение ко всему нравственно нечистому. Император написал такую резолюцию, обозвавши виновного соответствующим данному случаю эпитетом, что тот должен был немедленно покинуть место директора департамента полиции, с каковым положением связана большая власть и значительные денежные средства в безотчетном распоряжении.

Министр внутренних дел Иван Николаевич Дурново (совсем не родственник Петру Николаевичу) еле-еле уговорил Государя не увольнять его совсем, а назначить в Сенат. Таким образом, он – П. Н. Дурново – был довольно долго в Сенате и все время отличался между сенаторами разумно-либеральными идеями; особенно, Дурново являлся всегда в Сенат защитником евреев, когда слушались дела, в которых администрация старалась софистическими толкованиями сузить и без того крайне узкие и несправедливые законы для еврейства.

Таким образом, П. Н. Дурново являлся в Сенате сенатором, на которого обращали внимание и с логикой которого считались. Я же его лично не знал впредь до следующего эпизода. Как то раз, уже тогда, когда министром внутренних дел был Сипягин, мне докладывают, что сенатор П. Н. Дурново просит меня его принять. Я его принял, и он сразу, в первый раз меня увидавши, отрекомендовавшись мне, просил меня выручить его из большой беды.

Он играл на бирже и проигрался: чтобы его выручить, ему нужно было безвозвратно шестьдесят тысяч рублей. Я ему ответил, что сделать это не могу и не имею никакого основания просить об этом Его Величество. Он меня на это спросил, как я поступлю, если ко мне обратится с подобною просьбою министр внутренних дел Сипягин. Я ему сказал, что, несмотря на наши добрые с ним – Сипягиным – отношения, я ему откажу и советую, если он – Сипягин – обратится к Его Величеству, тоже меня оставить в стороне, ибо я буду противиться и Государю.

На другой день я встретился с Сипягиным, и он меня спросил, как я отношусь к П. Н. Дурново; я ему ответил, что к деятельности его в Сенате я отношусь с уважением, как к деятельности толкового и умного человека, а так, вообще, я Дурново не знаю. Затем он меня спросил, что я думаю, если он пригласить Дурново в товарищи; я ему на это ответил, что Дурново должен отлично знать министерство, что ему – Сипягину – необходимо умного и деятельного, а также опытного товарища, но я ему не советовал бы поручать Дурново дела полиции и вообще такие дела, в которых есть вещи неконтролируемые, делаемые не на белом свете. На это мне Сипягин ответил: «Это я знаю».

Вскоре после сего разговора были назначены товарищами министра П. Н. Дурново и генерал-майор князь Святополк-Мирский, причем последний был командующий корпусом жандармов и в его ведении был департамент полиции, поскольку сим департаментом не занимался сам министр Сипягин. Кроме того, остался товарищем министра князь Оболенский, бывший товарищем, и весьма влиятельным, при Горемыкине. Сипягин был на ты с кн. Оболенским и был с ним весьма дружен, но ему не доверяли он говорил, что Оболенский прекрасный честный человек, но очень уже любящей делать карьеру.

Что же касается Дурново, то Сипягин с ним советовался тогда, когда нуждался в том или другом совете, но специально поручил ему почты и телеграфы, и Дурново ведь хорошо Главное управление почт и телеграфов. Относительно выдачи какой бы то ни было суммы Дурново, Сипягин ко мне никогда не обращался и после мне сознался, что он выдал Дурново, чтобы покрыть его потерю на бирже, из сумм департамента полиции. Во время Сипягина Дурново вел себя совершенно корректно. Когда Сипягин заболел и начали против него интриговать, и князь Оболенский пожелал иметь личные доклады у Его Величества, вероятно, рассчитывая на характер Государя Императора, то Дурново отнесся к этим интригам, как весьма корректный человек.

Затем вступил министр Плеве; они друг друга, ненавидели; Дурново занимался только почтами и телеграфами и вел себя корректно. Когда же убили Плеве, министром стал кн. Мирский.

Дурново остался товарищем и при Мирском и держал себя совершенно корректно.

Наконец, когда ушел Мирский, назначили Булыгина – Трепова, Дурново держал себя совершенно корректно относительно первого и весьма критиковал Трепова.

При обсуждении мер, предуказанных указом 12 декабря, что было поручено комитету министров, а я тогда был председателем сего комитета, Дурново держал себя в высшей степени корректно, и когда замещал в комитете министра, высказывал мысли разумные и либеральные. Все изложенное послужит затем объяснением, почему я решился в конце концов взять в мое министерство министром внутренних дел Петра Николаевича Дурново, и это при тех обстоятельствах, при которых я очутился, было одною из существенных моих ошибок, которая значительно способствовала ухудшению и без того трудного моего положения, как председателя совета министров.*

Глава тридцать шестая

Трепов и великий князь Николай Николаевич

* Как только я стал председателем совета, в первые же дни генерал-губернатор, товарищ министра внутренних дел, а в сущности диктатор Трепов выразил мне желание оставить свой пост и удалиться (это было выражено по телефону, а потом подтверждено письмом). Я не давал решительного ответа по причинам вышеизложенным.

Дней через 10–14 после 17 октября он меня уже официально просил его освободить, я ему ответил по телефону, что его не удерживаю. На другой день утром я еду на пристань, чтобы сесть на казенный пароход и ехать к Государю с докладом, в котором между прочим хотел доложить и о просьбе Трепова. На пароходе застаю Трепова. Говорит, что едет в Петергоф. Я говорю: – «Вы вернетесь со мною?» Он мне отвечает: – «нет, я больше совсем не вернусь, я остаюсь в Петергофе, будучи назначен дворцовым комендантом». Меня это крайне удивило, во-первых, потому, что я об этом совсем и никем не был предупрежден, а во-вторых, что его выезд имел характер какого-то бегства из Петербурга. Действительно, он там и остался, туда были привезены его вещи и на другой день был опубликован Высочайший приказ о его назначении, для его ближайших подчиненных совершенно неожиданно.

При докладе Государю я между прочим сказал, что хотел доложить о прошении Трепова, но Трепова застал на пароходе, который сообщил мне, что он – Трепов – уже назначен дворцовым комендантом. Я прибавил, что с своей стороны очень рад этому назначению, так как единственная задача дворцового коменданта есть охрана жизни Его Величества, и что Трепов вероятно теперь приобрел такую полицейскую опытность, что успешно разделить этот труд и ответственность со мною и министерством. Государь на это ничего не ответил, замыл этот разговор.

Во время царствования Императора Александра III-го, когда вещи называли своими настоящими именами, была должность начальника охраны Его Величества, которому подчинялись военные части, специально охраняющие Государя, и в руках которого находилась вся секретная полиция, непосредственно охраняющая Государя и Его Августейшую семью.

При Николае II-ом, сейчас же по Его вступлении на престол, было признано как бы неудобным иметь начальника охраны, кто на такого Императора, как Николай II-ой, может покушаться?.. Должность начальника охраны была упразднена, но одновременно создана новая должность дворцового коменданта, как бы только начальника внешнего порядка. В действительности же получилась только разница в том, что прежде должность начальника охраны занимали такие сравнительно крупные лица, как граф Воронцов-Дашков, генерал-адъютант Черевин, а при Николае II такие сравнительно ничтожные люди, как Гессе, князь Енгальчев, наконец, и роковой Трепов, а теперь той же категории комендант Дедюлин; прежде военная охрана была гораздо малочисленнее, а теперь значительно возросла; прежде и полицейский штат был несравненно меньший и, наконец, при Александре III-ем охрана Его Величества занималась только охраной Его Величества, а при Николае II-ом обратилась кроме того в «черный кабинет» и «гвардию» секретной полиции.

Вслед за Треповым ушел директор департамента полиции министерства внутренних дел Гарин и был, несмотря на молодость и малую службу, прямо назначен сенатором, вопреки заключению министра юстиции, почтеннейшего Манухина.

Это тот Гарин, который теперь стреляет дробью мелкую интендантскую сошку, это обыкновенный прием столыпинского министерства, чтобы наивным показать – вот мы

какие, но конечно, эта охота на интендантскую сошку тем и кончится и не коснется никого не только из высокопоставленных, но хотя бы из среднеставленных лиц для того, чтобы не делать недоброжелателей. Затем сенатор Гарин начал жить в резиденциях Государя, там где дворцовый комендант Трепов, и в самом непродолжительном времени сделался неофициальным статс-секретарем генерала Трепова в новой его роли постоянного охранителя, советника и помощника Государя Императора в текущих делах.

Уже через несколько недель после 17 октября я почувствовал совсем другой тон многих Высочайших резолюций, тон канцелярский с длинными мотивами и канцелярско-хитрыми заключениями. Помню, например, подобные резолюции, конечно, всегда написанные собственноручно на журналах и мемориях совета: – «это мнение не согласно с кассационным решением сената от такого-то числа, такого-то года, по делу такому-то, разъясняющим истинный смысл такой-то статьи, такого-то тома, такой-то части закона». Я недоумевал, в чем тут дело? Но скоро я узнал, что почти все доклады, кроме прямо касающихся дипломатии и обороны государства, передаются генералу Трепову; генерал Трепов при помощи находящегося у него в качестве делопроизводителя сенатора Гарина пишет проекты резолюций, которые затем представляются Государю и Государь ими пользуется. Тогда мне стало ясно, в чем дело, ибо Государь всю свою жизнь и по сие время никогда не открыл ни одной страницы русских законов и их кассационных толкований, да наверное и до сего времени не разъяснит, какая разница между кассационным департаментом сената и другими его департаментами.

По психологии Государя сенат это коллегия высоких чиновных лиц, Им назначаемых по заслугам, симпатии и протекции, и которые, как более опытные люди, решают по справедливости и к благу государства, а следовательно прежде всего Его и Царской семьи, наиболее важные дела.

Министр же юстиции это своего рода инспектор, докладывающий Ему по всем делам, касающимся правосудия, когда же нужно творить уже совершенно явное неправосудие, то тогда нужно обращаться к другому Его докладчику, главноуправляющему комиссией прошений или попросту сказать главному делопроизводителю одного из отделений Его канцелярии.

Когда я оставил пост председателя совета и образовалось министерство Горемыкина, то один из моих приятелей, очень преданный и любящий Государя, спросил министра двора прекраснейшего барона Фредерикса: «Ну, какое же на Вас производит впечатление совет при новом министерстве?» – На это он получил ответ: «Вы знаете, я графа Витте весьма уважаю и ценю, но министерство Горемыкина как-то спокойнее заседает и относится как-то более сердечно и почтительно к резолюциям Его Величества. Вот вчера в совете читались резолюции Государя с целым рядом указаний на различные статьи закона и после заседания Горемыкин мне со слезами сказал, что он поражен памятью и знанием Его Величества законов». Я сказал моему приятелю: «а вы спросили барона, что, чиновник-сенатор Гарин делопроизводителюет ли до сих пор при вице-Императоре Трепове или нет?»

Понятно, что Трепов, товарищ министра внутренних дел, петербургский генерал-губернатор, начальник петербургского гарнизона, более или менее официальный диктатор, значительно способствовавший к приведению внутреннего состояния России в то положение, в котором она очутилась к концу 1905-го года, оставив все эти официальные посты и в один прекрасный день переехавший в апартаменты, находящиеся около покоев Его Величества, заняв по-видимому скромное, не политическое положение дворцового коменданта, а в сущности положение совершенно безответственного диктатора, род азиатского евнуха европейского правителя, неотлучно находящегося при Его Величестве, еще больше приобрел влияние нежели то, которым он пользовался до 17-го октября.

Вообще на всякого человека естественно может оказывать наибольшее влияние тот, кто его чаще видит, кто при нем постоянно находится, в особенности человек с столь наружными решительными аллюрами, которыми отличался Трепов, но на людей слабовольных, у коих характер заменяется упрямством, конечно, это влияние было подавляющее. К тому же вся охрана Государя была в его распоряжении, необходимые суммы тоже в его бесконтрольном распоряжении, все советы, прошенные и не прошенные, могли исходить от него, он был посредником между всякими конфиденциальными записками, подаваемыми на имя Его Величества, а Император Николай с самого начала своего царствования оказался большим охотником до всяких конфиденциальных и секретных записочек, а иногда и приемов.

Это у него своего рода страсть, явившаяся может быть из чувства забавы. А тут еще в такое бурное время да при таком политическом столпе, как Трепов, полицейском генерале свиты Его Величества, родившемся так сказать от полиции и в полиции воспитавшемся. Понятно, что всякие проекты, критики, предположения начали сыпаться в новую главную полицейскую квартиру Его Величества, а от Трепова зависло, что хотел – подать Государю, особенно рекомендовать Царскому вниманию, а что хотел – смазать, как недостойное Государева внимания. (Государю ведь действительно и без того столько приходится читать.) А если записок и проектов на желательную тему, например, такого содержания – как хорошо было бы такого то министра прогнать – нет, то ведь всегда такую записку можно заказать и она будет прекрасно написана, литературно и до слез патриотично.

Само собою разумеется, что при таком положении вещей, как только стало ясным, что благодаря 17-му октября потрясенный трон укрепляется, что о возможности Царской семье покинуть Россию не может быть речи, что интеллигентная часть общества впала в своего рода революционное опьянение не от голода, холода, нищеты и всего того, что сопровождает жизнь 100-миллионного не привилегированного русского народа или, точнее говоря, голодных подданных русского Царя и русской Державы, а в значительной степени от умственной чесотки и либерального ожирения (Морозов, Набоков, князя Долгоруковы, Пергамент и пр., и пр.), в то опьянение, которое страшно испугало имущих и по непреложному закону вызвало страшную реакцию, когда явились всё эти обстоятельства, которые вызвали в глубине души сожаление, для чего я подписал 17-ое октября, то естественно явилась попытка если не аннулировать напрямик, то по крайней мере косвенными путями (не мытьем, так катаньем) стереть или протереть 17-ое октября.

Для такого дела генерал Трепов преподходящий деятель, ибо он вмещал в себе сосуд всяких государственных противоположнейших возможностей и ультралиберальнейших и ультраконсервативнейших. Вся стая тех людей, которые делают себе карьеру через великосветские будуары, через приемные высокопоставленных лиц, которые вообще ищут взобраться на лестницу мимолетной известности более житейскими приемами, нежели внутри их содержащимися достоинствами, конечно, всячески искали возможности попасть в приемные Трепова в дворцовых домах Царского Села и Петергофа; некоторые делали это из политических целей, видя в этом возможность повлиять на Государя в смысл своих идей; наконец, вся клика иностранных корреспондентов добивалась этого прямо по долгу своей службы – это их обязанность.

Трепов не порвал своих связей и с департаментом полиции, так как душа этого департамента Рачковский, ведший при Трепове всю секретную часть департамента полиции, хотя и был удален новым министром внутренних дел Дурново из высокого положения, которое Рачковский занимал в департаменте полиции, но остался по особым поручениям при новом министре и, следовательно, он мог пользоваться всеми своими связями, созданными как при начальствовании в департаменте полиции при Трепове, так в особенности при более чем

пятнадцатилетнем заведовании всей секретной русской полицией за границею, когда он имел главную квартиру при нашем посольстве в Париж.

Новый министр внутренних дел старался давать Рачковскому поручения вне Петербурга и как то сетовал мне на то, что Рачковский неохотно берет эти поручения. Рачковский же будучи в Петербурге без текущих дел дневал и ночевал у нового дворцового коменданта Трепова. Поэтому были возможны, например, такие случаи. Уже в январе или феврале 1906 года, т. е. месяца через 2–2½ после 17-го октября Лопухин, бывший при Плеве директором департамента полиции и в некоторой степени начальство бывшего московского обер-полицеймейстера Трепова, а потом Ревельским губернатором и уже при моем министерстве, по настоянию Вел. Кн. Николая Николаевича и при сочувствии дворцового коменданта, но помимо меня уволенный от этой должности и назначенный состоять при министре внутренних дел, просил меня его принять.

Я не уважал Лопухина, потому что он был директором департамента полиции в самое политически бессовестное плевенское время. Будучи тогда министром финансов, затем председателем комитета министров, я видел, что Лопухин человек политически недобросовестный, и имел основание даже с личной точки зрения относиться к нему неприязненно, но что касается увольнения его с поста Ревельского губернатора, то находил, что к этому не было достаточных оснований, но, конечно, нисколько не дорожил таким губернатором. Увольнение его произошло приблизительно по следующим обстоятельствам.

В Ревеле кроме губернатора живет другое важное лицо – начальник дивизии. После 17 октября в прибалтийских губерниях и в том числе в Ревеле было очень беспокойно. Мне не было известно ничего, что показывало бы, что губернатор Лопухин как бы сдал власть – испугался, но губернаторы часто находятся в натянутых отношениях с начальниками войск, один гражданский начальник, другой военный и оба независимые. Понятно, что после 17-го октября явился жгучий материал для недоразумений между двумя начальствующими петухами. Начальник дивизии донес главнокомандующему войсками петербургского военного округа Вел. Кн. Николаю Николаевичу, что губернатор из трусости крайне либеральничает и сдал власть революционерам. Великий Князь сейчас же донес Государю, а Государь потребовал от Дурново увольнения Лопухина. Другой министр может быть отстоял бы своего подчиненного, но Дурново оказался не из таких, хотя он сам мне после говорил, что потопились увольнением Лопухина и что он докладывал Государю, что нужно ранее разобрать дело на месте, но что Его Величество не захотел.

После увольнения Лопухина до меня из военных сфер дошли сведения, что ревельский начальник дивизии после 17-го октября сидит запершись у себя на квартире и охраняется часовыми. Я как то сказал об этом Великому Князю. Великий Князь ответил, что это не может быть, что он хорошо знает этого начальника дивизии. Но почему то в скором времени он послал одного генерала (кажется Безобразова, бывшего командира Кавалергардского полка) произвести ревизию в Ревеле и оказалось, что то, что я слышал о сказанном начальнике дивизии, в известной мере было правильно. Он тем же Великим Князем был устранен от ревельского поста.

Итак, я назначил прием д. с. с. Лопухину. Он явился ко мне и передал, что ему достоверно известно, что при департаменте полиции имеется особый отдел, который фабрикует всякие провокаторские прокламации, особливо же погромного содержания, направленные против евреев, что этим отделом заведует ротмистр Комиссаров, и что прокламации эти массами посылаются в провинцию, еще на днях тюк послан в Курск, другой в Вильну, а самый большой в Москву, что этот отдел был организован еще при Трепове и находился в ведении Рачковского и что Рачковский и до сего времени имеет к нему отношение. Зная крайне враждебное отношение Лопухина к Трепову и Рачковскому и вообще не доверяя по выше-

известной причине Лопухину, я ему сказал, чтобы он мне представил доказательство тому, что он говорит.

Через несколько дней я вторично принял Лопухина, который мне принес образцы отпечатанных прокламаций уже разосланных, а равно и приготовленных для рассылки. Затем он меня предупредил, что если я не устрою так, чтобы накрыть работу сказанного отдела Комиссарова совершенно для всех неожиданно, то конечно, все от меня будет скрыто, Я ко всем этим указаниям отнесся совершенно равнодушно. На другой же день неожиданно позвал в свой кабинет одного из находившихся в канцелярии чиновников и сказал ему, чтобы он поехал сию минуту в моем экипаже в департамент полиции и чтобы он узнал, там ли находится ротмистр Комиссаров, если же его там нет, то чтобы он поехал к нему на квартиру и сейчас же в моем экипаже привез Комиссарова ко мне. Если он не будет в форме, то пусть едет в том костюме, в котором он его застанет.

Через пол часа сказанный чиновник мне доложил, что он привез ротмистра Комиссарова.

Я его видел в первый раз. Он был одет в рабочий штатский костюм. Я его усадил и прямо начал разговор о том, как идет то весьма важное дело, которое ему поручено, которым я очень интересуюсь, и передал ему такие детали, что он сразу немного растерялся.

Я ему сказал, что посвящен во все – тогда он начал мне докладывать различные подробности. По его словам прокламации действительно рассылались, но он указывал цифры меньшие нежели те, которые мне передавал Лопухин; печатанье происходит на станках, которые были забраны при арестах некоторых революционных типографий, и эта секретная прокламационная типография помещается в подвальных комнатах департамента.

На мой вопрос, кто же это организовал и кто этим руководил – он меня начал уверять, что это он делал по собственной будто бы инициативе, без ведома начальства, из убеждения полезности этой меры, и что начальство его прежде и теперь об этом ничего не знает. Что новое начальство не знает, это совершенно возможно, так как новый директор департамента полиции Вуич был только что назначен из прокуроров Петербургской судебной палаты. После такого признания я сказал ротмистру Комиссарову следующее:

«Дайте мне слово, что вы немедленно, возвратившись, уничтожите весь запас прокламаций, что немедленно уничтожите или забросите в Фонтанку ваши типографские станки, и что более никогда такими вещами заниматься не будете, так как я считаю подобные действия и приемы совершенно недопустимыми, все это вы должны сделать до завтрашнего утра, так как завтра я буду объясняться по этому предмету и, если окажется, что вы не исполните то, что я вам говорю, я буду вынужден поступить с вами по закону».

Комиссаров дал мне честное слово, что он исполнит буквально то, что я ему приказал, и затем с Комиссаровым я встретился только через год после этого в моем доме на Каменно-островском проспекте, когда организация союза русского народа, с участием агентов правительства союза, особо отличаемого Его Величеством, заложила адские машины в печах моего дома, который уцелел только благодаря произволению Божьему.

На другой день я заехал к министру внутренних дел Дурново и из разговора с ним убедился, что вся работа отдела Комиссарова была для него нова, что он во всяком случае не интересовался этим делом, но вернее, совсем о нем не знал. Дурново, видимо, был озадачен, назначил следствие.

В моем архиве хранится сообщение Дурново об результате следствия, которое не отрицает фактов, но, конечно, значительно их преуменьшает. Эта история затем в искаженном виде проникла кратко в печать, а потом, во время первой Думы послужила темой в Думе для одной речи депутата князя Урусова, брата жены Лопухина. Как в печати, так и в речи Урусова дело это, напротив, насколько мне оно было известно, несколько вздуто.

Во всяком случае, как со стороны Лопухина, так в особенности князя Урусова, бывшего при моем министерстве товарищем министра внутренних дел, было не корректно разглашать такие вещи, которые им сделались известными только вследствие их служебного положения.

При первом докладе я дело рассказал Его Величеству, Государь молчал и, по-видимому, все то, что я Ему докладывал Ему уже было известно. В заключение я просил Государя не наказывать Комиссарова, на что Его Величество мне заметил, что Он во всяком случае его не наказал бы в виду заслуг Комиссарова по тайному добыванию военных документов во время японской войны.

Провокаторская деятельность департамента полиции по устройству погромов дала при моем министерстве явные результаты в Гомеле.

Там в декабре последовал жестокий погром евреев. Я просил Дурново назначить следствие. Он назначил члена совета его министерства Савича, толкового и порядочного человека. Савич представил расследование, я потребовал копию. Расследованием этим неопровержимо было установлено, что весь погром был самым деятельным образом организован агентами полиции под руководством местного жандармского офицера гр. Подгоричани, который это и не отрицал. Я потребовал, чтобы Дурново доложил это дело совету министров. Совет, выслушав доклад, резко отнесся к такой возмутительной деятельности правительственной секретной полиции и пожелал, чтобы Подгоричани был отдан под суд и устранен от службы. По обыкновению, был составлен журнал заседания, в котором все это дело было по возможности смягчено. Согласно закону журнал был представлен Его Величеству. На этом журнале совета министров Государь с видимым неудовольствием 4-го декабря (значит через 40 дней после манифеста 17-го октября) положил такую резолюцию:

«Какое мне до этого дело? Вопрос о дальнейшем направлении дела гр. Подгоричани подлежит ведению министра внутренних дел». Через несколько месяцев я узнал, что гр. Подгоричани занимает пост полицеймейстера в одном из Черноморских городов.

Те, которые знали, что главная причина, почему я не мог после 17 октября вести дело, как я это считал нужным, и не мог оказывать влияния на Государя, без коего быть во главе правительства не мыслимо, мне впоследствии говорили: «Это правда, что вы при Трепове не могли вести дело, но отчасти вы сами виноваты. Зная Государя, вы должны были Его ежедневно видеть, стараться постоянно быть при Нем, тогда вы парализовали бы влияние Трепова». Но едва ли нужно объяснять, что совет этот по меньшей мере наивный.

Государь жил в Царском селе, а я должен был жить в столице, в Петербурге. Значить наибольшее, что я мог сделать, это чаще ездить с личными докладами. Если же я бы ездил ежедневно; если, бы, предположим невозможное, т. е. что я бы занимался не делом, а охраною исключительно своего личного влияния на Государя и жил бы в Царском селе, то я все таки мог бы видеть Его Величество только раз в день и в заранее определенный час с подготовленной обстановкой, а Трепов, в качестве хранителя физической личности Государя, мог Его видеть при всякой обстановке несколько раз в день. Я бы делом не занимался и ничего бы не достиг, скорее достиг бы обратных результатов относительно влияния на Государя, но главное, совсем бы уронил себя в собственных глазах.

Несомненно, что на Государя абсолютное влияние имеет Императрица и не потому что Она Его жена и Он Ее несомненно любит, по потому что Она с Ним постоянно находится и может непрерывно на Него влиять. Это уже такая натура.

Характерным примером того, как Трепов на подобие азиатских любимых евнухов верховенствовал, может служить внешняя часть истории с вопросом об обязательном отчужде-

нии земель и об уходе министра земледелия Кутлера, честного, умного и дельного человека, которого травлею загнали в лагерь партийных левых кадетов (См. главу XL.).

Таким образом, Трепов во время моего министерства имел гораздо больше влияния на Его Величество, нежели я; во всяком случае, по каждому вопросу, с которым Трепов не соглашался, мне приходилось вести борьбу. В конце-концов он явился, как бы, безответственным главою правительства, а я ответственным, но мало влиятельным премьером.

В дальнейших рассказах это ненормальное положение вещей будет еще неоднократно иллюстрироваться фактами. Это было главнейшею причиною, вследствие которой я не мог вести дело, как считал нужным и это привело меня к необходимости покинуть пост за несколько дней до открытия Государственной Думы. Горемыкин был призван заменить меня несомненно, между прочим, потому, что он был в отличных с Треповым отношениях. Горемыкин, когда еще был министром внутренних дел, очень заискивал все время у московского генерал-губернатора Великого Князя Сергея Александровича, а чтобы быть с ним в хороших отношениях, нужно было быть в хороших отношениях с его оберполицеймейстером генералом Треповым. Тогда же были у меня вполне натянутые отношения с Великим Князем, вследствие того, что Трепов сделал эксперименты насаждения полицейского социализма в сред московских рабочих, поведшие сперва к Зубатовщине в Москве, а потом к Гапоновщине в Петербурге.

Несмотря на то, что Горемыкин был назначен председателем совета министров после меня по внушению Трепова, он не мог продержаться на этом посту более 72 дней и одновременно с роспуском первой Думы, Горемыкин оставил пост председателя совета не по своему желанию, как это сделал я, а по желанию Его Величества. Как то раз уже в 1908 году Горемыкин был у меня с визитом и я его спросил, какие были причины его ухода. На это он мне ответил, что быть председателем совета при Трепове было невозможно, что он ушел потому, что он не мог исполнять все предъявляемые ему требования Его Величества, который в сущности исходили от Трепова.

Судя по его рассказу, чаша была переполнена, вследствие следующего инцидента, характеризующего положение вещей. «Как то раз, незадолго до закрытия Думы, я получил от Его Величества, говорил мне Горемыкин, род письменной инструкции, как должен себя вести председатель совета вообще относительно Думы и специально в ее заседаниях. Инструкция эта была составлена Треповым и сводилась к тому, что председатель должен действовать более активно относительно Думы, бывать чаще на заседаниях и не давать никому спуска, т. е. вести политику словопрения „зуб за зуб“. Инструкция эта была одобрена Государем и прислана мне к руководству.

Я докладывал словесно Его Величеству, что этакое мое (Горемыкина) поведение ни к чему не приведет, что нужно просто закрыть Думу. Государь тогда с первым положением согласился (конечно, это так всегда бывает), но затем уже мои (Горемыкина) отношения к Трепову сделались невозможными и Государь, распустив первую Думу по моему совету, одновременно по совету Трепова уволил и меня.» (Я себе подумал – это именно характер Государя Николая II.) В заключение Горемыкин сказал: «Ведь вы знаете характер нашего несчастного Государя», на что я ему ответил: «Да, хорошо знаю». Затем я его спросил: «Вот вы должны знать Столыпина, что он из себя представляет»? На это Горемыкин мне ответил: «Тип приспособляющегося провинциального либерального дворянина, но все-таки и он при Трепове бы не усидел, его счастье, что Трепов через несколько недель умер». Я тоже думаю, что несмотря на всю приспособляемость Столыпина, он при Трепове более нескольких месяцев не высидел бы.

Другое лицо, которое во время моего министерства имело громадное влияние на Государя, было – Великий Князь Николай Николаевич. Влияние это было связано с особыми мистическими недугами, которыми заразила Государя Его Августейшая Супруга, и которыми давно страдал Великий Князь Николай Николаевич. Он был один из главных, если не главнейший, инициаторов того ненормального настроения православного язычества, искажения чудесного, на котором по-видимому свихнулись в высших сферах (история француза Филиппа, Сормовского, Распутина-Новых и все это фрукты одного и того же дерева). Сказать, чтобы он был умалишенный – нельзя, чтобы он был ненормальный в обыкновенном смысле этого слова – тоже нельзя, но сказать, чтобы он был здравый в уме – тоже нельзя; он был тронут, как вся порода людей, занимающаяся и верующая в столоверчение и тому подобное шарлатанство. К тому же Великий Князь по натуре – человек довольно ограниченный и малокультурный.

Как я уже упоминал ранее в моих записках, когда я возвращался 17-го после подписания исторических документов с Великим Князем на пароходе, он в присутствии ехавших с нами князя А. Д. Оболенского, Вуича и др. сказал мне: «17 октября – замечательное число: 17 в Борках была спасена вся Царская семья и в том числе и теперешний Император, будучи Наследником, теперь же 17-ое октября вы, граф, спасаете Государя с Его малолетним Наследником и Его Семьей». Я подумал: дай то Бог, чтобы было так! Кажется, тогда же, а может быть, в следующие дни, во всяком случае, при первом же свидании я ему сказал, что не смотрю на положение вещей так радужно, что придется еще много претерпеть, ранее достижения равновесия и что я его прошу, как главнокомандующего войсками петербургского округа, на всякий случай, если мне придется в крайности объявить Петербург с его окрестностями на военном положении и принять меры к охране Его Величества и Августейшей семьи силою, то чтобы такое положение было приведено в исполнение моментально; для сего нужно, чтобы каждая часть знала свое место и каждый квартал имел своего военного начальника, чтобы все имели определенные инструкции, дабы при помощи военного положения водворить порядок моментально.

Великий Князь выслушал мои соображения во всей подробности, т. е., то, что именно я желаю, и через несколько дней прислал ко мне генерала Рауха, будущего его начальника штаба и тогда самого доверенного генерала (а теперь уволенного куда то на границу начальником дивизии), который мне от имени Великого Князя доложил, что все исполнено в точности, согласно моему желанию, т. е. в случае, если я дам знать об объявлении Петербурга и его окрестностей на военном положении, то в несколько часов времени вся местность будет занята войсками, каждый квартал будет иметь своего начальника и каждая часть получит немедленно подробную письменную инструкцию. Я через посланного благодарил Великого Князя и просил ему передать, что я надеюсь и почти уверен, что к этому мне не придется прибегнуть, что Петербург и его окрестности останутся, как ныне, в нормальном положении, но что я исходил лишь из мысли «что береженого Бог бережет» и, в виду ответственности на мне лежащей, считал долгом предвидеть все, даже самые маловероятные случайности.

Не прошло затем несколько недель, как ко мне явился недавно назначенный помощником Великого Князя генерал Газенкампф, который меня просил от имени Великого Князя, чтобы в случае необходимости я не назначал военного положения, а объявил Петербург и его окрестности в чрезвычайном положении. Меня это удивило и я спросил генерала Газенкампфа, на чем основано это желание? Генерал мне ответил: «Видите ли, в случае чрезвычайного положения, передача дел в военные суды будет зависеть от Дурново (тогда уже он был назначен управляющим министерством внутренних дел) и вообще от него будут зависеть смертные казни, а при военном положении все это ляжет на Великого Князя, а следовательно, он делается мишенью революционеров».

Я просил передать Великому Князю, чтобы он не беспокоился, покуда я буду председателем совета, я надеюсь, что Петербург и его окрестности будут пребывать в нормальном положении.

В первые недели после 17 октября в действиях Великого Князя я не замечал ничего такого, что могло бы возбуждать во мне, как председателе совета, сомнения, но по мере того, как стало и для Великого Князя ясным, что успокоение не может наступить сразу, и что еще предстоять большие волнения, относительное благоразумие и сдержанность его пропадали. Вскоре, я случайно узнал, что его самый близкий человек, генерал Раух, видится с Дубровиным, который только что начал укрепляться, получая поддержку от различных влиятельных лиц (князь Орлов, граф Шереметьев, думаю, что Дурново и друг.). По крайней мере, после того, как я оставил пост председателя, как то раз в разговор с Дурново я обозвал Дубровина негодяем; Дурново мне сказал: «напрасно вы его так называете, право, он честнейший и прекраснейший человек».

Затем, сношения Великого Князя с Дубровиным и союзом русского народа делались все более и более частыми. Свидания Рауха производились в комнатах, отдающихся в наем от яхт-клуба (помещение при клубе).

Великий Князь был посетителем этого клуба и, вероятно, еще когда я был председателем, виделся с Дубровиным. После же моего ухода Великий Князь мало и скрывал свои отношения к Дубровину и союзу русского народа (т. е. просто, к шайке наемных хулиганов).

Одно время петербургский союз имел даже намерение избрать его почетным председателем, но затем, кажется, нашли это не совсем безопасным. Конечно, только рассчитывая на поддержку Великого Князя и министра внутренних дел Дурново, Дубровин в одном из манежей собрал толпу хулиганов, говорил зажигательные речи и затем, с криками «долой подлую конституцию и смерть графу Витте», вышли из манежа, но не посмели идти по улицам.

Разительным примером полной растерянности после 17 октября Великого Князя Николая Николаевича служит, между прочим, следующее обстоятельство:

Во время моего премьерства последовало Высочайшее повеление о сокращении сроков службы воинской повинности. Мера эта была принята без обсуждения в совете министров и без моего участия и исходила из комитета обороны, находившегося под председательством Великого Князя, под давлением той мысли, что это послужит к успокоению нижних воинских чинов. Относительно существа этой меры можно быть различного мнения и я думаю, что сделанное сокращение полезно, но при принятии совокупно других мер, которые бы способствовали более быстрому навыку русского крестьянина или рабочего к военному делу при современной технике войны. Но принятие такой меры во время расстройств армии, длящегося и донныне без принятия одновременно и даже предварительно других мер, не может быть оправдано разумными причинами и объясняется только растерянностью. Она была продиктована не потребностью обороны, а как бы говорила «да, мы виноваты в срам позорной войны и гибели стольких русских воинов, зато мы вам в будущем даем такие-то облегчения, только забудьте прошлое и не волнуйтесь»

(* По поводу сроков воинской повинности несколько месяцев тому назад (сентябрь 1909 г.) в Петербурге мне рассказывал один из высоких чиновников следующее:

Новый военный министр Сухомлинов нашел, что сделанные после 17 октября сокращения сроков воинской повинности не соответствуют положению дел, а потому испросил Высочайшее повеление, отменяющее эти сокращения. Повеление это должно было быть отослано в сенат для опубликования. Другие министры об этом узнали и, зная характер Государя, что если они вмешаются в это дело, то это повеление именно отменено и не будет,

прибегли к следующему приему. Они уговорили военного министра доложить Его Величеству о неудобстве отмены сокращения воинской повинности. Военный министр уговорил Государя не отменять сделанное после 17 октября сокращение сроков воинской повинности. Очевидно, военный министр Сухомлинов покуда еще переживает с Его Величеством медовые месяцы. *).

Вообще октябрьские дни мне наглядно показали, что под влиянием трусости ни одно качество человека так не увеличивается, как глупость.

В течение моего председательствования постоянно происходили вспышки в войсках, были волнения в Кронштадте, волнения в Севастополе, затем взволновался дисциплинарный батальон в Воронеже, который должен был подвергнуться осаде. В ноябре, в Киеве, рота пятого понтонного батальона произвела манифестацию. В Петербурге явилось движение в военной электротехнической школе и затем между моряками, находившимися в морских казармах на Морской около конного полка. Моряков этих ночью окружили войсками, нагроутили на баржи и затем отправили в Кронштадт.

Все это была вспышка на подобие каких-то небольших судорог, в сущности в довольно прочном организме, сравнительно легко выдерживающем легкое, но довольно общее отравление. В данном случае Великий Князь поступил довольно энергично и самолично выехал к войскам. Насколько все эти вспышки были явно подученные и бессознательные, видно на примере этих моряков. Вся беда, с точки зрения укрепления правительства и охраны престола, заключалась в том, что не было в России войска, так как армия более нежели в миллион человек находилась за Байкалом, а находившаяся в России была дезорганизована и сосредоточивалась на окраинах и в Петербурге и его окрестностях.

Кроме того, наши финансы были в корне подорваны войною и затем смуту, на которую правительство, бывшее до 17-го октября, совсем не рассчитывало; сначала оно вообразило, что война с Японией будет военною забавою, а потому, когда дело пришло к миру, — что сейчас все затихнет. Поэтому министр финансов Коковцев, поддерживаемый в своих взглядах большинством финансового комитета, займами не спешил, говоря, вот война кончится, тогда выгоднее будет сделать все нужные займы. Поэтому после 17-го октября я принял управление без денег и без войск. Моя задача и заключалась в том, чтобы добыть деньги и вернуть из Забайкалья армию.

Я дал слово Государю это сделать, и вот почему я не мог просить Государя освободить меня от глупого положения более или менее номинального главы правительства ране исполнения этих двух вещей. В особенности, ране совершения займа, так как, несомненно, без меня заем не был бы совершен.*

Глава тридцать седьмая

Образование кабинета. Амнистия. Закон о выборах

* В первые дни после 17 октября мне было сообщено из департамента полиции, что было бы неудобно мне оставаться на Каменно-островском проспекте в моем собственном доме. Так как это помещение для меня весьма удобно, то я не хотел его оставить, но мне передали, что, в виду отдаленности этого дома от министерств и центра, а с другой стороны необходимости министрам и другим высокопоставленным лицам приезжать ко мне, будет крайне трудно их охранять во время проезда ко мне и, в особенности, въезда в мой дом.

Мне предложили занять помещение в запасном доме при Зимнем Дворце, помещение, которое занимал управляющий Зимним Дворцом генерал Сперанский, а для канцелярии помещение, находящееся рядом, которое занимал тоже один из чинов министерства двора. Хотя это для меня было крайне неудобно, но я был вынужден на это согласиться, и через несколько дней после моего назначения, приблизительно около 27 октября, я переехал в новое помещение налегке, почти ничего не трогая из моего дома, в который, я был *уверен*, что скоро придется вернуться или живым или мертвым.

В течение этих 10 дней, когда я продолжал жить в моем доме, я жил также, как я жил ранее, не допуская никакой полицейской охраны, и чувствовал себя совершенно спокойным, дверь моего дома была открыта и ко мне приходили люди без особого разбора. Дежурил только днем один чиновник комитета министров и курьер.

В городе забастовки начали улегаться и сравнительно все было спокойно. В эти ближайшие дни после 17 октября, когда я еще жил в своем доме, помню еще следующие эпизоды. Как то приходили ко мне рабочие, жалуются, что некоторых из их товарищей зря арестовали. Я их послал к генерал-губернатору Трепову. Они сначала не хотели идти, а потом взяли от меня записочку на имя Трепова, в которой я просил генерал-губернатора их выслушать и, если их претензия окажется справедливой, то удовлетворить. Затем я, как до переезда в дворцовый дом, так и после, принимал несколько раз рабочего Ушакова с товарищами. Они в то время были рабочими консерваторами, которые враждовали с рабочими революционерами и анархистами, в лагере которых оказалось громадное большинство рабочих. Это громадное большинство образовало совет рабочих с Носарем во главе.

После моего ухода с поста председателя совета, некоторые газеты распространили слух, будто бы у меня был Носарь и депутаты совета рабочих. Нашлись такие, которые уверяли, что, собственно, чуть ли не мною создан этот совет, а негодяи из союза русского народа распространяли слух, что я находился с советом рабочих и с рабочими революционерами в преступных отношениях.

Газета «Чего изволите», т. е. «Новое Время», также очень была недовольна моим поведением относительно сего совета.

Она пустила глупую шутку, что было в это время два правительства – правительство гр. Витте и правительство Носаря, и что было неизвестно, кто кого ранее арестует – я Носаря или Носарь меня. Об этом совете рабочих и Носаре я еще буду писать впоследствии. Покуда же скажу, что никогда в жизни я Носаря не видел, никогда ни в каких сношениях с ним и с советом рабочих, а равно и с рабочими революционерами и анархистами я не состоял. Никогда рабочих, входящих в организацию совета рабочих, я, как таковых, не принимал и, если бы они ко мне явились, как таковые, то я их направил бы к градоначальнику. Вообще, этому совету я не придавал особого значения. Он и не имел такого значения. Во-первых, впрямь до арестования, по моему распоряжению, совета, он имел влияние на рабочих только петер-

бургского района и не имел значения вне Петербурга, а потому смешно говорить серьезно о значении его вообще. Во-вторых, как только оказалось нужным его арестовать, я его и арестовал без всяких инцидентов и *не пролив ни капли* крови.

Но так как главный стимул «Нового Времени» это нажива, а в то время рабочие типографии Суворина гораздо более слушались совета рабочих с Носарем во главе, нежели самого Суворина, то он, а потому и его газета придали совершенно исключительное значение этому совету и Носарю, сосредоточив на этом прыще революции весь революционный вопрос 1905 года.

Между тем сплетни об этом совете рабочих, Носаре и моих к ним отношениях настолько глубоко распространились, что еще в зиму этого года (1909 г.) приезжал в Петербург агент министерства финансов в Берлине П. И. Миллер (только что теперь назначенный товарищем министра торговли Тимирязева), которого я хорошо знаю, так как он долго при мне служил, и к которому я сохранил хорошие чувства (Он приезжал в Петербург как раз после моей речи в Государственном Совете по поводу штатов морского генерального штаба, чуть-чуть не свалившей все столыпинское министерство с ним – Столыпиным во главе. Если он тогда не свалился, то только потому, что, в сущности, делает все, что ему прикажут. Говоря мою речь, а совсем не имел в виду Столыпина, и не подозревал, что он будет подавать со своими министрами голоса против взглядов, мною выставленных, с которыми Его Величество вынужден был согласиться, не утвердив эти штаты. Они имели громадное принципиальное значение.).

Вот в разговоре с Миллером я его спросил, что собою представляет лейтенант Бок, который только что женился на дочери премьера Столыпина и потому получил место морского агента в Берлине. Он мне его – Бока, а также его жену очень похвалил, по прибавил, что перед выездом из Берлина (это после моей речи) он слышал от madame Бок, что будто бы в министерстве ее батюшки Столыпина, т. е. в министерстве внутренних дел, имеются какие-то компрометирующие меня бумаги по моим сношениям с советом рабочих и с Носарем. Не может быть, чтобы госпожа Бок слыхала это от своего батюшки, вероятнее всего, что она могла слыхать это от своей матушки или ее братьев, господ Нейдгардтов. Вот вам и порядочные люди...

Вообще, после 17 октября на улицах было совершенно спокойно, никаких грабежей и кровопролитий не было, хотя Петербург оставался в обыкновенных условиях, без всяких усиленных, чрезвычайных и военных положений. Я просил Трепова не трогать никаких демонстрантов, если только они не нарушают порядка и активно не революционируют, и войска не держать на улицах, а в казармах и дворах всех дворцов и казенных учреждений, если только есть что существенное охранять. Трепов это исполнил, отдав такое распоряжение. Еще до 17 октября он занимал, кроме поста товарища министра внутренних дел и петербургского генерал-губернатора с особыми полномочиями, также пост начальника петербургского гарнизона, т. е. ему подчинялись все войска, находящиеся в Петербурге. Петербург находился в обыкновенном положении во все время моего премьерства, а с моего ухода до сего времени он находится в чрезвычайном положении, т. е. изъезжен из действий общих законов.

С тех пор, т. е. со времени моего ухода, и пошли в Петербурге анархические и чернотенные покушения, убийства и грабежи.

Итак, после 17-го в Петербурге было все спокойно, ходили демонстранты по улицам с различными знаменами, но, видя, что на них не обращают внимания, успокоились. Вообще, город начал быстро принимать свой обыкновенный вид – водопровод, освещение, конки и вообще городские устройства начали действовать более или менее нормально, несмотря на все усилия совета рабочих (Носаря), продолжать революционировать рабочих. Но значение

совета и вообще дух революционный, объединявший рабочих, начал с каждым днем все более и более падать.

Уже некоторые фабрики начали работать и вскоре прекратилась забастовка всех фабричных рабочих и забастовки железных дорог, хотя и делались всякие попытки, чтобы создать единую забастовку, но это было все более и более безуспешно.

Во все время моего премьерства только раз пришлось употребить в Петербурге оружие, и при следующих условиях. Это было немедленно после 17 октября, когда я еще находился на Каменно-островском проспекте, у себя. Вызывает меня по телефону директор Технологического института, которого я лично не знал, и говорит мне, что около Технологического института стоит масса народа, требуя выдачи чего-то, что было по слухам скрыто начальством в этом институте, и что для очистки улицы вызвана часть Семеновского полка, что он просит меня предупредить кровопролитие. Я ему отвечаю, что всего этого не знаю, а потому вмешиваться не могу. Он меня просил вызвать к телефону находившегося там же дежурного офицера. Офицер, почему-то дежуривший при Технологическом институте, который был закрыт, подтвердил мне, что толпа стоит спокойно, что она думает, что кто-то арестован в здании института, что он, несомненно, убедит толпу, что она ошибается, а потому разойдется, но что по распоряжению генерал-губернатора вызвана часть Семеновского полка, что эта часть уже наступает и может произойти серьезное кровопролитие по недоразумению. Я его спросил, в чьем ведении находятся войска в этом районе, – он мне ответил, что в ведении командира Семеновского полка, генерала Мина. Я его не знал и затем никогда в жизни не видел. Думаю, что он был честный человек, всегда исполнял свой долг, как военный. Он погиб возмутительно от руки революционерки после моего ухода.

Если всякие политические убийства, с какой бы стороны они ни шли – возмутительны, и не могут иметь никакого оправдания, то они в особенности возмутительны, когда относятся до лиц не лживых, не коварных, не подлых, а лишь исполняющих свой долг, хотя бы лиц, может быть, и тупых. Я об генерале Мине и этого сказать не могу и, вообще, я о нем не знаю ничего дурного.

В Москве он распоряжался при подавлении восстания, может быть, сурово-прямолинейно, но когда идет открытая бойня, с баррикадами, то военные всегда должны быть прежде всего военными, а войска – войсками, иначе это не будут войска и от их непосредственных начальников нельзя требовать бисмарковских дипломатических способностей. Вечная ему память...

Итак, я вызвал генерала Мина к телефону и говорю ему, в чем дело. Он принял обидчивый тон и указал мне на закон, по которому, раз вызваны войска, дело и ответственность переходят на военначальника, что значило, что это его дело. Я ему отвечаю, что закон этот я знаю, что он прав, что он теперь полный хозяин, но я тем не менее имею все-таки нравственное право просить его не проливать без крайней нужды крови и постараться окончить дело спокойно. «Я ведь не имею претензии вам отдавать приказания, а просто вас прошу, как человек, которому Его Величество счел необходимым оказать доверие», сказал я.

Этим наш разговор по телефону и кончился.

Я узнал после, что этот инцидент кончился так. Насколько помню, несколько, во всяком случае не десятков, а единиц пострадали, причем профессору Тарле была легко расшиблена голова. Это было единственное кровопролитие правительственной силой в Петербурге за все время моего премьерства. Признаться, я тогда Тарле не пожалел, так как он все смутное время в университете читал тенденциозные лекции о французской революции и не счел приличным хотя бы после 17 октября держать себя спокойно, как подобало бы себя уважающему профессору.

Возвращаюсь к образованию моего министерства после 17 октября. Из предыдущего изложения видно, что к замещению подлежали следующие посты: министра народного просвещения, министра внутренних дел, министра торговли, министра земледелия и государственного контролера и что для замещения сих должностей мною были приглашены: князь Е. Трубецкой, князь Урусов, М. А. Стахович, Гучков и Д. Н. Шипов и что они съехались с некоторым замедлением вследствие забастовки на железных дорогах. Вот, с этими лицами у меня состоялось несколько совещаний, продолжавшихся дня два или три.

В этих совещаниях кроме перечисленных лиц участвовал и князь А. Д. Оболенский, уже назначенный обер-прокурором святейшего синода, и более никто.

В настоящее время идут различные рассказы о том, что говорилось на этих совещаниях. Все эти рассказы не верны и ими преследуются те, или другие цели. Только перечисленные лица могут воспроизвести в точности, что на совещаниях этих говорилось.

Во время этих совещаний уже выяснилось, что министрами юстиции будет Манухин, иностранных дел – граф Ламсдорф, военным – генерал Редигер, морским – адмирал Бирилев, обер-прокурором синода – князь Оболенский, финансов – Шипов (И. П) и земледелия – Кутлер, так как Шванебах ушел и Стахович ранее совещания заявил, что никакого места в министерстве не примет, желая выбираться в Думу. На Кутлере я остановился, как на одном из наиболее деловых сотрудников моих во время управления мною финансами Империи и как на человеке чистом и вообще весьма порядочном. Все перечисленные лица не сделали никаких возражений в сказанных совещаниях, т. е. приглашенные мною общественные деятели не сделали препятствий быть коллегами сказанных лиц. Точно так при обмене мыслей относительно политики министерства также не произошло никаких несогласий, впрочем, на этом предмете долго не останавливались, так как политика моего министерства определялась моим всеподданнейшим докладом, опубликованным одновременно с манифестом 17 октября. Относительно этой политики больше всего разговора вызвал вопрос о выборах в Государственную Думу. Лица из общественных деятелей желали знать, какой политики я буду держаться относительно выборов в Думу, и здесь также у нас не вышло никаких разногласий.

Было выяснено, что вопрос о выборах уже значительно предрешен п. 2-ым манифеста 17 октября, который гласит: «Не останавливая предназначенных выборов в Государственную Думу, привлечь теперь же к участию в Думе по мере возможности, соответствующей краткости остающегося до созыва Думы срока, те классы населения, которые ныне совсем лишены избирательных прав, предоставив засим дальнейшее развитие избирательного права вновь установленному порядку». Значит, создание новых начал для выборов против уже установленных законом 6-го августа в бытность мою в Америке было невозможно, можно было только расширить круг избирателей, не нарушая основания выборного закона и не замедляя этим расширением созыва первой Государственной Думы, т. е. осуществление на деле конституции.

Таким образом не мне принадлежали основания выборного закона, давшего первую и вторую Думы; между тем, левые упрекали меня при объявлении манифеста 17 октября, что я не провозгласил прямых, всеобщих и равных для всех выборов, а впоследствии правые, которые совсем забыли п. 2-ой манифеста 17 октября, меня упрекали, что выборный закон, давший первую и вторую Думы, был чересчур широк.

(* Это побудило Столыпина самым бесцеремонным образом нарушить манифест 17 октября, основные законы, изданные после манифеста, а, следовательно, конституцию и издать своеобразный избирательный закон 3-го июня 1907 года посредством манифеста. Если бы этот закон был лучше прежнего выборного закона и надолго покончил с революционными эксцессами, я бы мог его оправдать, хотя, конечно, закон этот был актом государ-

ственного переворота, но мне представляется, что этот закон искусственный, что он не даст успокоения, как основанный не на каких либо твердых принципах, а на крайне шатких подсчетах и построениях.

В законе этом выразилась все та же тенденциозная мысль, которую Столыпин выражал в Государственной Думе, что Россия существует для избранных 130 000, т. е. для дворян, что законы делаются, имея в виду сильных, а не слабых, а потому закон 3-го июня не может претендовать на то, что он дает «выборных» членов думы, он дает «подобранных» членов думы, подобранных так, чтобы решения были преимущественно в пользу привилегированных в сильных. Теперешняя Государственная Дума есть дума не «выборная», а «подобранная». *).

Затем после 6-го августа, т. е. закона о законосоветательной думе, с Высочайшего соизволения последовал циркуляр министра внутренних дел Булыгина (от 22-го сентября 1905 года за N 63), требующий безотлагательного составления списков выборщиков, причем рекомендовалось, чтобы распубликование списков последовало не позднее 15-го октября (т. е. за два дня до манифеста 17-го). В этом циркуляре объявлялось о Высочайшей воле, чтобы Дума была собрана не позднее половины января 1906-го года (а между тем лишь одно расширение выборного закона без изменения его оснований было одною из главных причин, что Дума была собрана к 23-ему апреля). Далее в этом циркуляре говорилось:

«Священная воля Его Императорского Величества обязывает всех, на коих лежит наблюдение за правильностью производства выборов, всеми мерами обеспечить населению возможность спокойно и без всякого постороннего вмешательства указать тех именно избранных, которые пользуются его наибольшим доверием. Посему я поручаю вашему особливому вниманию наблюдение за тем, чтобы должностные лица и учреждения не допускали с своей стороны никакого, даже самого отдаленного вмешательства в производство населением выборов в Государственную Думу»

(* А за сим, когда во второй половине апреля 1906 г. я покинул пост председателя совета, «священная воля Его Императорского Величества», чтобы выборы были свободны, но помешала Государю выразить мне как бы упрек, что я и правительство не воздействовали на выборы и что потому получилась дума такая левая. Теперь действительно выборы в значительной степени фальсифицируются, чему наглядным и поразительным примером служить то, что происходит в Одессе относительно выборов в Думу одного члена Думы завтра, 27 сентября 1908-го года. Это не выборы, а издевательство над населением.*).

Таким образом, в совещании с общественными деятелями, приглашенными принять участие в министерстве, был поднят только вопрос, в какой именно степени будет расширен закон, соблюдая п. 2 манифеста 17-го октября. По этому предмету я передал присутствующим, что этот вопрос не предрешен именно потому, что министерство окончательно не сформировано и что, если они войдут в министерство, то будут совершенно свободны высказывать свои мнения и принять активное и ответственное участие в составлении закона, расширяющего выборный закон 6-го августа.

Действительно, ранее этого совещания до переезда моего в дворцовый дом, но после 17-го октября, я как-то собрал в здании Государственного Совета совещание с бывшими тогда министрами, в том числе и Шванебахом, переговорить об исполнении п. 2 манифеста 17-го октября, но на этом совещании ничего не было предрешено.

Князь Оболенский (новый прокурор святейшего синода) желал, по моему мнению, чересчур широкого расширения контингента выборщиков, а, напротив, Шванебах проповедывал необходимость не допускать к выборам ни рабочих, ни лиц так называемых либеральных профессий, и мои замечания по поводу доводов, представленных Шванебахом, дали ему ясно понять, что он оставаться в моем министерстве не может.

Мое разногласие с приглашенными общественными деятелями произошло на вопросе, кто будет министр внутренних дел?

К этому времени уже выяснилось, что крайне левые не успокоились манифестом 17-го октября и вообще буржуазной конституцией, что вообще смута в умах так распространилась, что еще придется переживать больше эксцессы с их стороны; но что было самое серьезное, это то, что конституционно-демократическая партия (кадеты), затем изменившая для большей популярности кличку в партию «народной свободы», которая, конечно, в особенности тогда, имела в своей среде людей наиболее культурных и серьезно образованных, не решалась явно порвать свои связи с крайними революционерами, исповедующими революционные насилия, до бомб включительно.

Такое положение вещей, конечно, требовало со стороны начальника полиции во всей Империи большой опытности, в особенности в виду того, что в последние годы полиция везде была совершенно дезорганизована. Самое поверхностное знакомство с кн. Урусовым привело меня к заключению, что он в этом деле не имеет никакой опытности. Князь Оболенский, который так усиленно мне рекомендовал князя Урусова, после приезда сказанных общественных деятелей на совещание, сам выразил мне сомнение в том, может ли князь Урусов занять пост министра внутренних дел. Это меня побудило в совещании высказать, что чем более я думаю, тем более прихожу к необходимости предложить пост министра внутренних дел П. Н. Дурново, но большинство членов совещания высказалось против Дурново, с своей стороны не указывая ни на кого, кто бы мог занять этот пост. Было кем то упомянуто имя Столыпина, некоторые отнеслись к этому предложению сочувственно, но были и такие, которые сказали, что он очень неопределенный, умеет уживаться со всяким направлением. Насколько помню, это выражал Д. Н. Шипов. Я, с своей стороны, сказал, что Столыпин не знаю, но что, как губернатор, он пользуется хорошою репутацией.

Затем члены совещания настаивали, чтобы я принял на себя министерство внутренних дел. Я на это согласиться не мог, так как во первых чувствовал, что не буду иметь на это времени, и, действительно, занимая лишь пост председателя совета в это еще не столько революционное, как сумасшедшее время, я занимался по 16–18 часов в сутки, а во вторых, главное потому, что министр внутренних дел есть и министр полиции всей Империи и Империи полицейской *par excellence*, я же полицейским делом ни с какой стороны никогда в жизни не занимался, знал только, что там творится много и много гадостей.

Не в такое время, как мы переживали во время моего министерства, можно было спокойно изучать и затем преобразовывать полицию. В это время нужно было действовать, и каждый день был дорог. Поэтому в крайности я согласился бы принять всякое министерство, не исключая даже военного, тем более, что многие мне были хорошо известны, но я никогда не согласился бы принять министерство внутренних дел, которое было и до настоящего времени у нас в России есть по преимуществу министерство полиции. Отделять же в то время полицию от министерства внутренних дел и образовывать особое министерство полиции (в виде бывшего III-го отделения), значило бы в глазах общества идти совершенно в разрез принципам, провозглашенным манифестом 17-го октября, т. е. водворения гражданской свободы.

Вся предыдущая карьера П. Н. Дурново, как я высказывал присутствующим, не дает мне основания относиться к нему критически в такое трудное время. Во всяком случае я его предпочитаю сотрудникам Горемыкина (Рачковский; директор департамента полиции, ныне сенатор, Зволянский), сотрудникам Плеве (Лопухин, Зубатов, Штюрмер), и сотрудникам Трепова (тот же Рачковский, Гарин, Зубатов).

Теперь же я сказал бы, что я его предпочитаю сотрудникам Столыпина (Курлов, Толмачев, Азеф, Гартинг, Ландезен и проч.).

Князь Оболенский поддерживал мои соображения относительно Дурново. Но кто меня удивил, это князь Урусов, который высказал, что в такое время не следует вносить рознь из-за личных симпатий или антипатий и, чтобы показать на деле, что он не имеет ничего против назначения П. Н. Дурново министром внутренних дел, он готов пойти к нему в товарищи.

После этого наше совещание было прервано, так как приглашенные решили, ранее чем сказать окончательно да или нет, переговорить и обдумать.

Тем временем я виделся с Дурново и высказал ему откровенно, что общественные деятели во всем находятся со мной в согласии и готовы вступить в министерство, но что разногласие произошло лишь по вопросу о назначении министра внутренних дел, я высказался за назначение его – Дурново, а общественные деятели желают, чтобы я принял это министерство и во всяком случае, по-видимому, не желают служить с ним. Он был очень сконфужен, просил меня, если он не будет назначен, скорее его освободить от временного управления министерством после ухода Булыгина и спросил: «Что они против меня имеют?» Я ему ответил, что они не объясняют, но, вероятно, все это женские его истории, довольно в свое время нашумевшие. На это он ответил: «Да, действительно, в этом я грешен». Так мы и разошлись.

В то время, когда общественные деятели совещались, войти ли им в мое министерство при министре внутренних дел Дурново или нет, я с своей стороны окончательно решил назначить Дурново. Решение это основывалось на том, что я решительно не видел, кого мне предложить назначить помимо его из таких деятелей, которые знали бы то дело, к которому призываются, не подпадали бы под влияние всей полицейской клики и не были бы манекенами в руках удалившегося, чтобы иметь еще большее влияние, генерала Трепова.

Между тем, когда я заговорил с Государем о предстоящем совещании с общественными деятелями и о Дурново, то по поводу предложения о назначении князя Урусова министром внутренних дел Его Величество ничего не сказал, а к назначению Дурново отнесся довольно отрицательно. Сам же во время этого разговора ни на кого не указал.

Когда же, уже будучи комендантом, меня спросил Трепов о моих кандидатах на пост министра внутренних дел, и я сказал, что вопрос этот еще не решен, но имеется в виду князь Урусов, он отнесся к Урусову крайне враждебно, к Дурново недоброжелательно и советовал мне самому взять это министерство. Я ему ответил только, что это невозможно.

Такое отношение к Дурново в Царском Селе служило мне также одним из доводов именно в пользу назначения Дурново, так как я уже тогда инстинктивно понимал, что Трепов стремится управлять министерством внутренних дел или, вернее, полицией во всех ее видах, а потому желает или чтобы министром внутренних дел был его человек, или был совершенным новичком и профаном в тех тайнах и пружинах, на которых основывается все полицейское управление Империей.

Вечером того же дня, когда у меня было совещание, или на другой день, хорошо не помню, мы опять собрались в том же составе, причем Д. Н. Шипов, А. И. Гучков и князь Трубецкой высказались, что они не могут войти в министерство в случае, если министром внутренних дел будет Дурново; я же заявил, что принять министерство внутренних дел не могу и не вижу никого, кто бы мог быть назначен министром внутренних дел в настоящее время, кроме Дурново; князь Урусов заявил, что он согласен принять место товарища Дурново по министерству внутренних дел. На этом мы разошлись, причем я был бы не искренен, если бы не высказал то, может быть совершенно неосновательное, впечатление, что в то время общественные деятели побаивались бомб и браунингов, которые были в большом ходу против власть имущих, и что это был одним из внутренних мотивов, который шептал каждому в глубине души: «Лучше подальше от опасности».

Мы разошлись совершенно дружески, употребляя это слово в деловом смысле, и я просил этих лиц обсудить вопрос о том, в каком смысле и объеме можно расширить выборный закон, оставаясь в пределах манифеста 17-го октября. Они мне сказали, что им удобнее исполнить эту работу в Москве, я просил их сделать это возможно скорее, так как исполнением ст. 2 манифеста замедляются выборы и, следовательно, созыв Думы.

После этого для пополнения министерства мне предстояло пригласить министров: внутренних дел, просвещения, торговли и государственного контролера. В министры внутренних дел я представил Дурново, прося одновременно назначить его и в Государственный Совет, так как Дурново, если бы и не вошел в министерство, по всем бывшим примерам имел на то право. Государь согласился назначить Дурново членом Государственного Совета, что же касается министра внутренних дел, то назначил его лишь управляющим министерством и не охотно. Таким назначением Его Величество сразу дал понять Дурново – потрафишь мне, тогда на все прошедшее и в том числе на сенаторский либерализм будет поставлен крест, не потрафишь, тогда будешь начальствовать недолго. А ведь для того, чтобы потрафить Государю, нужно было прежде всего потрафить генералу Трепову.

Вот Дурново и не выдержал этот искус, он начал подделываться под Государя, под Великого Князя Николая Николаевича, под Дубровина и даже под Трепова, поскольку Трепов качался направо, и относился к нему – Трепову – благожелательно-равнодушно при его – Трепова – скачках налево.

Дурново, во время моего премьерства, ни разу мне не говорил о своих докладах и беседах с Его Величеством, но, зная хорошо Государя, я ясно себе представляю разговор Государя с министром внутренних дел. Дурново, например, говорит: «Ваше Величество, на это место следовало бы назначить такого то, он бы показал, как либеральничать» – ответ: «да, это отличное назначение, почему же вы его не представляете?» – «Я не знаю, как к этому назначению отнесется граф Витте, он всех таких лиц называет черносотенцами». – «А какое до этого дело Витте, его дело председательствовать в совете и только». Или я себе представляю такую беседу: – «Вот, Ваше Величество, мы решили в совете уволить графа Подгоричани из корпуса жандармов, за то, что он устроил еврейский погром в Гомеле». – «Я еще не видел журнала, неужели единогласно, разве вы, как министр внутренних дел и шеф жандармов, на это согласились?» – «Да, Ваше Величество, я не мог пойти в этом деле против графа Витте». – «Напрасно, это графа Витте совсем не касается, это не его дело. Вообще, каждый министр должен действовать самостоятельно и испрашивать моих указаний».

Когда П. Н. Дурново увидал направление Государя и то, что я был назначен председателем по необходимости, что я играть роль ширмы не намерен, и что Государь, как только Ему окажется возможным найти более солидную ширму, со мной охотно расстанется, то он – Дурново – и решил, что лучше быть *persona gratissima* в Царском Селе, нежели в Петербурге у графа Витте, тем более, что наша жизнь так коротка, а пребывание на постах министров еще короче.

Дурново к 1-ому января уже был утвержден министром и произведен в действительные тайные советники помимо моего представления, а затем на Святую Пасху его дочь была сделана также без всякого моего участия фрейлиной Их Величеств.

Эта своего рода награда была особенно показательна. П. Н. Дурново не особенно примерный семьянин, но обожает свою дочь. Его дочь некрасива, не знатна и не богата, конечно, для сердца Дурново при таких условиях было большой наградой, если бы его дочь была фрейлиной. Он всячески пытался этого достигнуть, но никак не мог. Об этом в свое время хлопотали и Сипягин (когда Дурново был его товарищем по министерству) и другие, но ничего не выходило. Фрейлины не делались и, кажется, до сего времени не делаются без согласия обеих Императриц, а Императрица Мария Феодоровна, помня случай Дурново с

испанским послом и резолюцию благородного Императора Александра III, о назначении дочери Дурново фрейлиною и слышать не хотела. Конечно, Дурново должен был особенно услужить Императору Николаю II-му, чтобы Он переломил благородное упрямство своей Матушки относительно возведения девицы Дурново во фрейлины Их Величеств. А затем, когда совершенно неожиданно для него, Дурново должен был оставить пост министра внутренних дел, после того, как, наконец, моя просьба об оставлении поста премьера была принята, то в вознаграждение за такой конфуз Его Величеству благоугодно было выдать Дурново двести тысяч рублей, но, конечно, не из своего кармана, а из государственной казны.

Изменил ли я свое мнение относительно Дурново? – Нисколько. Я никогда не считал его человеком твердых этических правил, я в нем ценил и продолжаю ценить ум, опытность, энергию и трудоспособность, но, конечно, Дурново человек не принципов. Если бы Государь сразу поставил его на корректную точку и дал ему ясно понять, что, покуда я председатель совета его выбравший в министры, то я отвечаю за него, и он ничего серьезного не может делать без моего согласия или без моего ведома, то Дурново был бы именно тем министром, который мне был необходим в то время. Затем князь Урусов мог бы его естественно заменить, если бы это оказалось нужным.

– А чем лучше Столыпин по сравнению с Дурново? Разве он все, что делал, делал с согласия Горемыкина? Разве по мере вкушения ядовитого плода – власти, почета и материальных благ, ценных для всех его родичей, в особенности родичей его супруги, Столыпин постепенно не спускал свой конституционный и рыцарский флаг?

Если порассказать лишь то, что мне известно по этому предмету, а мне известно, вероятно, очень мало, то в конце концов нужно признать, что Государь Император также оболстил Столыпина, как и Дурново; разница в том, что Дурново мне ножки не подставлял, а, напротив, вероятно хотел бы, чтобы я остался, так как знал, что он премьером ни в каком случае тогда назначен не будет, а судя по отношению Горемыкина к Столыпину, едва ли он не считает, что Столыпин желал его ухода, чтобы занять его место.

Недаром Государя многие иначе не называют, как *charmeur*'ом!..

Что Государь после 17-го октября желал действовать в нужных случаях с каждым министром в отдельности и стремился, чтобы министры не были в особом согласии с премьером, могу рассказать для примера следующий факт. Как то раз уже месяца через 2–3 после 17-го октября встречает меня в приемной Государя генерал Трепов и говорит мне, что было бы очень желательно выдать ссуду из государственного банка Скалону, офицеру лейб-гусарского полка, женатому на дочери Хомякова, нынешнего председателя Государственной Думы; я ответил ему, что для этого нужно обратиться в государственный банк; он мне ответил, что государственный банк ссуды не выдает, так как она не подходит под кредит, допускаемый Уставом. Я ответил, что в таком случае Скалон ссуды не получит, что прежде иногда такие ссуды вопреки Устава банка выдавались по Высочайшему повелению, но что теперь это невозможно, во-первых, потому что едва ли это соответствовало бы духу 17 октября, а, во-вторых, не время говорить о подобных ссудах, когда страна переживает столь сильный финансовый кризис. Что же касается существа дела, то я его не знаю, но по моей опытности в подобных делах, по внешней оболочке дела Скалона я почти уверен, что государственный банк на этой ссуде поплатится, во всяком случае, она обратится в долгосрочную ссуду.

Затем через некоторое время приходит ко мне министр финансов Шипов и говорить, что он пришел проведать меня по поводу моего здоровья, а я с приезда из Америки все время моего премьерства был нездоров и меня поддерживало только крайнее болезненное нервное напряжение. Потом он мне говорить: «Я считаю также долгом моей совести передать Сергею Юльевичу, но не как председателю совета, члену Государственного Совета графу Витте, одну вещь. Во время моего последнего всеподданнейшего доклада Государь мне приказал

выдать из государственного банка Скалону ссуду в 2 миллиона рублей, прибавив: „Я вас прошу об этом ничего не говорить председателю совета“. Я сказал Шипову: „Ну, хорошо, председатель совета об этом ничего не будет ведать, но только мне интересно знать, как же вы поступите?“ Шипов мне ответил, что, вернувшись в министерство, он сейчас же написал Государю, что он Его повеление исполнит, но что он считает необходимым доложить статьи Устава банка, в силу которых банк таких ссуд выдавать не вправе, и что эта ссуда и по существу не обеспечена. Я ему на это сказал: „Ну, что же ответил Государь?“ – „Его Величество вернул мне доклад с надписью – „исполните мое повеление“, поэтому ссуда из банка выдана“».

Но этот всеподданнейший доклад все-таки Шипову даром не прошел. Когда я покинул пост премьера, И. П. Шипова, несмотря на мое ходатайство, оставили без всякого соответствующего назначения и Коковцев ему предоставил место члена совета государственного банка.

Что же касается этой ссуды Скалону, то еще в прошедшую зиму было представление в финансовый комитет о продлении этой ссуды, но затем представление в комитете не было заслушано. Ссуда до сих пор не заплачена и будет продолжаться до тех пор, покуда Хомяков нужен министерству, как председатель Думы.

Относительно поста министра народного просвещения я находился в затруднении. Управлял министерством Лукьянов, нынешний обер-прокурор святейшего синода, доктор по специальности, профессор патологии медицинского факультета Варшавского университета, затем, неожиданно, сделавший такую быструю карьеру: директора института экспериментальной медицины принца Ольденбургского в Петербурге, затем, через несколько месяцев, он делается товарищем либеральнейшего, по специальности классика, а по натуре поэта и чистейшего человека, министра народного просвещения Зенгера, затем остается товарищем генерала Глазова, сменившего Зенгера, а в комитете министров то проводящий самые ретроградные взгляды, то высказывающий взгляды несколько противоположные. Человек не глупый, образованный, талантливый, но если принять во внимание, что одновременно Лукьянов находил время быть любимым собеседником в салоне графини Марии Александровны Сельской, где он декламировал стихи своего произведения, то такая странная карьера из доктора, при том совершенная в несколько лет, становится более объяснимой. Для меня было ясно, что Лукьянов, товарищ министра народного просвещения Глазова, не может внушить какое бы то ни было доверие в ведомстве, в котором все учебные заведения находились в расстройстве, в волнении и забастовке. С другой стороны, после сделанного опыта с профессором и членом Государственного Совета Таганцевым и князем Трубецким, я считал несвоевременным делать дальнейшие опыты.

В виду этого я решил остановиться на человеке университетски образованном, не чуждом учебному делу и не могущем возбудить сомнения по своему прошлому, как в общественных слоях, так и в Царском Селе. Я остановился на вице-президенте академии художеств, гофмейстере двора Его Величества графе Иван Ивановиче Толстом, воспитанике Петербургского университета, в качестве помощника благороднейшего Великого Князя Владимира Александровича по академии художеств, много лет авторитетно управлявшем этим высшим учебным заведением, человек совершенно независимом и по происхождению хорошо знакомом с так называемым петербургским обществом и дворцовой камарильей. Я не ожидал встретить возражения по поводу этого кандидата и со стороны Государя. Лично я мало знал графа Толстого, знал его больше по репутации. Остановился же я на нем, во-первых, потому, что во время всех забастовок в петербургских высших учебных заведениях, когда многие начальники этих заведений скисли и стали игрушками в руках обезумевшей молодежи, граф Толстой показал, что он не из тех лиц, который дают себя терроризировать

и вместе с тем он был уважаем студентами академии, во-вторых, и главным образом потому, что, когда Его Величество расстался с министром народного просвещения генерал-адъютантом Ванновским вследствие его либерализма (невероятно, но факт!), то Великий Князь Владимир Александрович рекомендовал Государю в министры народного просвещения графа Толстого, и Его Величество усумнился в назначении, как этого, так и другого кандидата на этот пост, о котором будет речь немножко ниже, между прочим, вследствие их консерватизма, чтобы не шокировать профессуру и студентов, и остановился на товарище Ванновского по министерству, либеральном Зенгере, вероятно рассчитывая, что он хотя и либерален, но не будет проявлять упрямой твердости характера Ванновского (бывшего все время царствования Александра III-го военным министром) и его менторского по отношению Его Величества тона.

В виду этих соображений я пригласил к себе графа Ивана Ивановича и просил его принять пост министра народного просвещения в моем кабинете. Граф Толстой совершенно искренно и без всякой аффектации мне сказал, что он не считает себя подготовленным к занятию этого поста и советовал мне пригласить человека более к сему подготовленного, а после того, как я ему объяснил, что в настоящее время (т. е. во времена октябрьской революции 1905 года) нет охотников на посты министров и что я более медлить образованием министерства не могу, он, заявив, что считает не патриотичным отказываться от боевых постов в настоящее время и от помощи мне в осуществлении и укреплении начал, провозглашенных 17-го октября, сказал, что, если я не имею никого более подходящего, то он, конечно, примет этот пост. Его Величество на это назначение сейчас же соизволил выразить согласие. Очевидно, что Лукьянов оставаться товарищем министра народного просвещения при графе Толстом не мог уже потому, что Толстой на это не согласился бы, и, кроме того, Лукьянов сам надеялся получить этот пост. Граф Толстой просил моего совета относительно того, кого ему взять в товарищи к себе.

Признаться, я боялся, чтобы он не взял кого либо из лиц с репутацией либерализма, тем более, что нужно сказать правду, что тогда редко кто не переходил пределы разумного либерализма, считающегося с действительностью и историей.

Поэтому я вспомнил имя Герасимова, с которым никогда в жизни не встречался и знал о его существовании лишь по следующему поводу.

Когда Его Величество удалил министра народного просвещения генерал-адъютанта Ванновского, то пресловутый князь Мещерский, редактор-издатель на казенный счет пресловутого «Гражданина», имел преобладающее и подавляющее влияние на Его Величество, и он – князь Мещерский – мне тогда говорил, что очень советовал Государю назначить министром народного просвещения Герасимова, человека твердых, консервативных принципов, на которого можно положиться. Кстати сказать, князь Мещерский был одним из тех, которые обвиняли генерал-адъютанта Ванновского в либерализме. Я тогда не интересовался узнать, кто такой Герасимов, а князь Мещерский передавал, что Герасимов заведует приютом (нечто вроде гимназии) детей дворян в Москве и находится в большом фаворе у московского предводителя дворянства князя Трубецкого, у всех столпов московского дворянства, в том числе графов Шереметьевых, а потому и у генерал-губернатора Великого Князя Сергея Александровича. Я подумал, что при такой рекомендации Герасимов уже в чем, в чем, а в либерализме не погрешит. Через несколько дней граф Толстой мне передал, что он познакомился с Герасимовым и он на него произвел отличное впечатление, и что Его Величество этот выбор совершенно одобрил.

Затем, в течение всего моего премьерства граф Толстой себя держал во всех отношениях умно, уравновешенно и благородно; я ему не могу поставить ни одного действия в упрек. В совете министров он всегда высказывал умеренные и здравые мысли. Герасимов после назначения мне официально представился и затем несколько раз я имел случай слы-

шать его суждения в совете министров. Он на меня и на большинство моих коллег произвел в совете впечатление умного и знающего человека. Затем, когда я покинул пост премьер-министра, Его Величество, можно сказать, просто уволил графа И. И. Толстого, не дав ему никакого соответствующего назначения, и он – граф Толстой – черносотенной и прессою «чего изволите», а также всеми правыми Государственного Совета объявлен был, если не прямо революционером, то, во всяком случае, жидо-фильствующим «кадетом».

Герасимов после ухода гр. Толстого остался в министерстве Горемыкина и затем Столыпина, но еще ранее ухода министра народного просвещения министерства Горемыкина, а затем и министерства Столыпина, Кауфмана, он – Герасимов – был уволен совсем от службы также за свой либерализм.

Это наглядный пример, как во время революции действий и умов происходит переоценка ценностей.

Мне, вероятно, не придется более возвращаться к Герасимову, а потому я приведу следующий факт, мне достоверно известный. Когда через год или полтора после оставления мною премьерства Его Величество уволил Герасимова, то Герасимов просил Государя принять его. Государь его принял, и не в общий прием, а в частной аудиенции. Я, узнавши об этом, был удивлен, потому что Государь, вообще, в таких случаях уклонялся от свиданий с глазу на глаз, так как избегал не особенно приятных разговоров. Оказалось, что Он принял Герасимова, потому что принимал его, когда бывал в Москве, по рекомендации Великого Князя Сергея Александровича и дворянства, как столпа здравых консервативных идей, и было уже больно совестно уволить такого человека и даже не дать ему возможности объясниться.

При этом свидании, между прочим, было высказано следующее. Само собою разумеется, оказалось, что Герасимов уволен Государем потому, что этого желал Столыпин. Герасимов высказал, что он не понимает, почему Столыпин так против него, «что он графа Витте не успел узнать, но что он – граф Витте, по-видимому, ему верил, а Столыпина успел узнать и к нему относился с доверием и не понимает причины недоверия к нему Столыпина». На это Его Величество счел уместным уволенному товарищу министра народного просвещения дать мне не совсем лестную аттестацию. Казалось, что Его Величеству было бы приличнее быть более сдержанными

(Вариант: – На это Его Величество, будто бы ответил:

– А вот я хорошо знал и знаю графа Витте, а потому ему не доверяю. Я хотел бы думать, что такой разговор не имел места, ибо мне представляется, что каждое слово Государя имеет такое значение, что пускать его на ветер не подобает.)

Герасимов этим разговором был очень удивлен и передал его нескольким лицам, а в том числе и М. А. Стаховичу, от которого об этом разговоре я знаю. После официального приема Герасимова, когда он был назначен товарищем министра, я с ним нигде не встречался наедине и увиделся только через некоторое время после его увольнения по поводу одного заседания Государственного Совета, в дебатах которого я принимал участие; из разговора с Герасимовым я вынес впечатление, что то, что мне передал Стахович, было верно.

Воображаю, какие отзывы Его Величеству благоугодно было высказывать обо мне господам Дубровину и прочим членам этой черносотенной шайки, когда Он неоднократно наедине принимал их. Зная Государя, я себе представляю приблизительно такую сцену: «Ваше Величество, Самодержавнейший Государь, все несчастье России произошло от этой подлой конституции, от этого ужасного манифеста 17-го октября, это жидовское наваждение и как это Ты, обожаемый батюшка-Царь, мог подписать такую бумагу?» – говорить Дубровин или ему подобный. Ответ: «Это граф Витте меня подвел». – «Самодержавнейший,

Благочестивейший Государь, мы – русские люди это чуяли, мы с ним расправимся». Затем господу Дубровин и Ко. и пошли действовать...

Пост государственного контролера я предложил товарищу государственного контролера Философову, человеку совершенно достойному, чистому, умному и знающему. Если я предлагал этот пост Д. Н. Шипову, то потому, что Д. Н. Шипов совершенно заслуженно пользовался как человек и общественный деятель доверием большинства партии, что, по моему мнению, необходимо именно для государственного контролера, доколе ведомство государственного контроля, приуроченное к самодержавно-абсолютному режиму, не будет приспособлено к новому режиму, созданному манифестом 17-го октября. В то время Философов был мало известен общественным сферам и качества Философова знали только лица, которые с ним сталкивались по службе. Философов принял мое предложение, но поставил условием, чтобы с созывом Думы были установлены иные основания для государственного контроля вообще и государственного контролера в частности, которые бы были поставлены в соответствие с новым режимом, что до сих пор не сделано. Философов в течение всего моего премьерства вел себя во всех отношениях безукоризненно, всегда держась направления либерального и разумного.

Наконец, что касается министерства торговли, то я предложил занять это место В. И. Тимирязеву, товарищу министра финансов, заведывавшему отделом торговли до 17-го октября и образования нового министерства из этого отдела и главного управления торгового мореплавания. Тимирязева я знал давно, как неглупого чиновника, всегда занимавшегося канцелярскими делами по торговле и промышленности, в этом отношении обладающего большой опытностью, хорошо канцелярски владеющего пером и хорошо знающего иностранные языки. Когда я был директором департамента железнодорожных дел министерства финансов, он уже был вице-директором департамента торговли и мануфактур и я близко познакомился с ним, будучи одновременно членом комиссии под председательством министра финансов Вышнеградского, которая выработала первый таможенный протекционный тариф, затем в 1890-м или в 1891-м году еще при Вышнеградском введенном в действие. Тимирязев был одним из делопроизводителей этой комиссии.

Когда в 1892-м году я стал министром финансов, то, задавшись целью, между прочим, подъема торговли и промышленности, – а в то время министр финансов был и министром торговли, – мне пришлось, за смертью директора департамента торговли и мануфактур Бера, заместить этот пост; я хотел назначить на это место человека более талантливого и живого, нежели Тимирязев, а потому предложил этот пост В. И. Ковалевскому, а так как Тимирязеву было неудобно оставаться при этом условии вице-директором департамента, то он был назначен агентом министерства финансов в Берлин, где и пробыл почти все время, покуда я был министром финансов. Года за полтора до моего ухода с поста министра финансов Ковалевский должен был покинуть пост моего товарища по делам торговли и промышленности, и я взял на его место Тимирязева. Я обратился к Тимирязеву потому, что не придавал этому посту особого значения, так как дела этого министерства сам знал хорошо, к тому же я назначил к нему товарищем М. М. Федорова, также хорошо знающего дела торговли и промышленности. Конечно, от Тимирязева никакой инициативы и таланта я не ожидал и это мне и не было особенно нужно, но я ожидал корректности и в этом ошибся.

Тогда же, когда назначение Тимирязева было решено, но не было еще опубликовано, ко мне пришел М. М. Федоров и советовал мне не назначать Тимирязева, как человека, политически не совсем корректного. Я на это не обратил внимания. Должен сказать, что после весьма каялся, что взял этого карьериста-чиновника в мое министерство. Прежде всего, меня удивила Тимирязевская левизна во многих его суждениях в совете министров, но на это я не обращал внимания. Затем в течение моего премьерства, покуда не ушел Тимирязев, то,

что высказывалось в совете министров и даже в конфиденциальных заседаниях, когда не допускались в совете даже начальники отделений канцелярий комитета министров, каковые места в то время занимали люди испытанной скромности, на другой день сообщалось и преимущественно в левых газетах и часто в тон несколько рекламирующем Тимирязева. На это часто сетовали другие министры. Это меня вынуждало несколько раз в заседаниях совета просить быть более сдержанными и не разглашать ни то, что говорится в заседаниях, ни принимаемые решения, причем я указывал на то, что за границей в самых либеральнейших странах газеты знают из того, что говорится в заседаниях, то, что совет министров считает нужным разгласить; обыкновенно в этих случаях Тимирязев сидел и делал вид, что, конечно, эти рассуждения до него не относятся, так как он вне подозрений. Между тем, когда он покинул пост в моем министерстве, я узнал, что чуть ли не каждый день к нему приходили корреспонденты левых газет, и он им болтал все, что правительство делает и намеревается делать, всегда с выставлением себя ультра-либеральнейшим деятелем. На меня все время чиновник Тимирязев, встречавший и провожавший в Берлин с надлежащим подобострастием каждого русского сановника, уже не говоря о членах Царской семьи, по отношению к монархической власти напоминал такого слугу и то определенного типа, который чесал на ночь пятки своему барину, покуда он имел средства и вдруг перестал даже ему кланяться, когда он впал в нищету... Тимирязев, конечно, вследствие довольно долгого пребывания за границей, вероятно, несколько позабыл, что такое Россия, и вообразил себе, что конец монархии и наступает эра демократической республики, и соответственно сему себя держал. Когда же он увидел, что ошибся в апресиации, то повернул оглобли, но об этом скажу позже.

Еще до переезда в дворцовый дом я расстался с министром путей сообщения кн. Хилковым, прекраснейшим человеком, отличным железнодорожником, но не министром путей сообщения. Он был техник-практик, милейший человек, но совсем не администратор.

Вместо него я предложил место министра путей сообщения начальнику юго-западных дорог Немшаеву. Я лично его мало знал, но он пользовался хорошею репутацией, как инженер (путей сообщения) и как опытный железнодорожный администратор. Юго-западные дороги в смысле репутации своей – лучших ж. д. в России в отношении личного состава, в смысле коммерческом, как доходное предприятие, наконец, в смысле образцового порядка, в значительной степени были мною созданы, когда я проходил на этой дороге службу и был ее управляющим, а потому аттестация тамошних деятелей затем делалась мне моими бывшими подчиненными, когда мне приходилось их встречать, и, следовательно, по этим аттестациям я хорошо знал Немшаева.

Кроме того, я остановился на Немшаеве потому, что я знал, что он будет приятен Государю. Государь мне в прежнее время, когда проезжал по дорогам юго-западным, всегда хвалил их и симпатично выразился о Немшаеве. Его Величество сейчас же согласился на увольнение кн. Хилкова, с которым я был связан дружбою десятки лет и оставался дружен до его смерти, и на назначение Немшаева на пост министра путей сообщения. Все забастовки и расстройство на железных дорогах произошли во время кн. Хилкова и Немшаеву пришлось восстанавливать порядок на железных дорогах, а также восстанавливать движение, с чем мы после 17 октября очень скоро справились.

Военным министром до 17 октября был Редигер и я не имел в виду с ним расстаться, так как считал и по ныне считаю его весьма толковым и знающим военным министром.

Морским министром был Бирилев, не глупый и не дурной человек, но более болтун, нежели делец. Против него я тоже ничего не имел.

Министром юстиции был Манухин, человек весьма дельный и умный, прекрасный юрист и безусловно порядочный и честный человек. Я не только против него ничего не имел, но очень дорожил, чтобы он был в моем министерстве.

Министром иностранных дел был граф Ламсдорф, человек, которого я глубоко уважал и любил, прекраснейший министр иностранных дел, но человек весьма скромный, обидчивый и во всех отношениях не показной. О замене его в моем министерстве и речи быть не могло.

Министрами – финансов Коковцевым и земледелия Шванебахом я не дорожил, но если бы они с своей стороны перестали интриговать и вели себя спокойно, то я с ними ужился бы.

Обер-прокурором святейшего синода был назначен князь А. Д. Оболенский он им оставался во все время моего министерства. Свое дело он вел недурно, и если бы он оставался обер-прокурором, то, может быть, он не допустил бы той черносотенной бесшабашной политической струи, которая ныне проникла в нашу православную церковь. Я говорю, может быть, так как князь представляет собою тип великосветского титулованного либерала, но никогда не забывающего «свою линию удобств и выгод».

Участвуя в заседаниях совета в качестве равноправного члена, он постоянно метался из стороны в сторону. Он томился противоположностью своего привитого дворянского либерализма 80-х годов с проявлением многих из этих либеральных начал на почве демократической действительности. Он вмешивался в вопросы всех ведомств, хлопотал об устройении положений своих родственников и знакомых и прыгал в своих мнениях от одной крайности к другой.

Когда в последние месяцы существования моего министерства он понял, что я долго не останусь, то он поднял вопрос о том, что обер-прокурор святейшего синода не должен входить в объединенное министерство, говоря прямым языком, его положение не должно было зависеть от участия того или другого министерства, и соответственно сему желал дополнения закона о совете министров. Но, желая выделить свое ведомство православных духовных дел из совета министров, он тем не менее, как обер-прокурор, желал продолжать принимать участие в совете в качестве равноправного члена. Конечно, я свое сочувствие этому проекту не оказывал.

Еще до моего переезда в дворцовый дом, в первые дни после 17-го октября, произошло одно из чрезвычайно важных событий, которое придало акту 17-го октября как бы особую печать новой государственной жизни, отделяющей старое от нового времени, конституционного, или времени народного правительства, как предпочитают говорить теперешние министры со Столыпным во главе, опасаясь, вероятно, чтобы заморское слово конституция не вызвало нелюбезного лица Императора, или руготни на жаргоне публичных домов газеты Дубровина («Русское Знамя»).

Я хочу сказать об акте политической амнистии. Манифест 17 октября никакой амнистии не обещал, но амнистия была на устах у всех. Я просил министра юстиции Манухина сообразить этот вопрос и затем я собрал совет министров в помещении генерал-губернатора и товарища министра внутренних дел Трепова. Заседание было назначено в этом помещении (на Морской, бывшее помещение министра внутренних дел), так как около сего помещения преимущественно жили должностовавшие принимать участие в заседании; присутствовали Трепов, П. Н. Дурново, Манухин, с одним из директоров департамента своего министерства Щегловитовым, Коковцев, Шванебах, государственный секретарь барон Иксуль, министр двора барон Фредерикс, Философов, товарищ государственного контролера, товарищ министра народного просвещения Лукьянов, временно управляющий министерством, остальных не помню.

Относительно необходимости после 17 октября оказать акт забвения высказались все один только Трепов как бы высказывался против, но потом начал говорить за, и под конец желал полную амнистию без всяких исключений. Манухин высказался за широкую амнистию, но за исключением убийц революционеров, относительно же последних допустить уменьшение наказаний в определенной градации. Это мнение и было принято большинством, к которому и я присоединился и которое было Высочайше утверждено и немедленно приведено в исполнение.

Это была первая широкая политическая амнистия в России, связанная с признанным в то время политическим преобразованием России, т. е. переходом от Империи полицейской к Империи правовой, которая немыслима без известного подразделения власти между Монархом и народным представительством, конечно, представительством более или менее не фиктивным, т. е. не таким, которое государственным переворотом, совершенным Столыпиным в июне 1907 года при усиленных, чрезвычайных и военных положениях, у нас в России водворилось.

Достоин внимания, что в защиту расширения амнистии в сказанном заседании весьма толково говорил П. Н. Дурново, а докладчик Щегловитов так и сыпал доводами газеты «Речь», т. е. крайних кадетов того времени. Я в душе немного побаивался амнистии, но считал ее необходимою, раз мы стали на путь 17 октября. И в настоящее время после всего пережитого я эту амнистию считаю мерою правильною.

Во время этого заседания барон Иксуль меня спросил, знаю ли я, что сегодня Коковцев подал Государю прошение об увольнении. Я не знал и ответил, что не знаю причины этого поступка, что я не имел в виду его заменить и не думал с ним расставаться, но только решил образовать министерство торговли, взявши из министерства финансов все, что непосредственно относится до торговли и промышленности, о чем я говорил председателю Государственного Совета гр. Сольскому, но что мне его заменить не представляет никакого труда. На другой день ко мне явился Коковцев и просил меня написать Государю, чтобы Он не давал последствия его прошению. Я ему ответил, что это теперь очень неудобно делать, и упрекал его в некорректности, что он подал прошение, меня не предупредивши. Он все свалил на гр. Сольского, говоря, что ему гр. Сольский это советовал, уверяя, что я с ним – Коковцевым – служить не хочу. Когда он убедился, что я этого Сольскому не говорил, то начал очень сожалеть о своем прошении, а затем начал плакать, говоря буквально следующее:

«Что я буду делать? Хорошо вам, когда вы были не у дел, читали, писали, меня же все это не интересуется – я умру со скуки».

Последовало увольнение Коковцева и вместо него я просил назначить директора департамента казначейства Шипова, прекрасного, умного, честного и знающего человека, но только с хитрецою. Затем я узнал, что гр. Сольский хочет просить Государя назначить Коковцева председателем департамента экономии Государственного Совета. Но ранее Государь прислал мне прошение Коковцева, из которого я усмотрел, что Коковцев в этом прошении инсинуирует против 17 октября, поэтому я категорически воспрепятствовал этому назначению.

В дворцовом доме, в который я переехал, часть помещения была отдана под залу заседания совета министров, мой кабинет и маленькую канцелярию; заседания совета по несколько раз в неделю происходили тут, а заседания комитета министров, председателем которого я остался, по прежнему в Мариинском дворце. Особой канцелярии совета формально образовано не было, но часть канцелярии комитета занималась советскими делами, и фактическим управляющим делами совета сделался помощник управляющего делами комитета (ныне сенатор) Вуич.

Я выделил дела советские от комитетских, чтобы по советским делам не иметь постоянных сношений с управляющим делами бароном Нольде, умным, знающим, порядочным и толковым человеком, но типом Петербургского чиновника.

Вуич на меня ране производил впечатление крайне симпатичного человека. За время моего премьерства, когда он, можно сказать, занимался при мне днем и иногда ночью и затем и после этого – я убедился, что это редко чистый, добросовестный и прекрасный человек. Оригинально то, что он женат на любимой дочери Плеве и они замечательно хорошо и семейно живут.

У Плеве было двое детей – дочь, жена Вуича – и сын, теперешний управляющий делами совета министров, из черносотенного лагеря. Честное и добросовестное служение со мною Вуича внесло раздор в семейство Плеве. Жена Вуича, конечно, была на стороне мужа.

В числе важнейших задач, которые предстояло решить моему министерству, было переменить выборный закон, установленный при опубликовании Думы 6-го августа 1905 года (Булыгинской).

Один закон был выработан общественными деятелями в Москве. Поручение это, как уже сказано, взяли на себя Д. Н. Шипов, Гучков и князь Трубецкой или, вернее сказать, напросились на это поручение. Это обстоятельство именно несколько и замедлило опубликование закона о выборах и созыве самой думы.

Другой закон был выработан Крыжановским (служившим в министерстве внутренних дел, составившим выборный закон и Булыгинской думы) по моим указаниям и под моим руководством. Оба эти закона затем были рассмотрены в особом заседании комитета министров под моим председательством. В комитете министров в качестве членов по закону присутствовали председатели департаментов Государственного Совета (граф Сольский, Фриш и Голубев), некоторые приглашенные мною члены Государственного Совета – А. А. Сабуров, Таганцев, затем общественные деятели, участвовавшие в составлении их проекта: Шипов, Гучков, Стахович, Муромцев (будущий председатель Первой Государственной Думы), Кузьмин-Караваев и граф Бобринский. Последний не принимал участия в составлении проекта закона, но будучи ранее мне представлен, высказывал по тому времени довольно консервативные взгляды, особенно относительно будущего выборного закона, из-за этого именно он был мною приглашен.

В заседании значительное большинство членов склонилось к проекту, выработанному Крыжановским (ныне занимает пост Государственного секретаря) под моим руководством, сделав в нем некоторые поправки второстепенного характера. В этом большинстве участвовал и граф Бобринский, который горячо спорил с остальными общественными деятелями, опровергая их проект. Остальные общественные деятели поддерживали их проект и особенно много говорил, поддерживая проект общественных деятелей, Муромцев.

Я тогда в первый раз увидел этого почтенного старика и он на меня не произвел особенно симпатичного впечатления. Из членов правительства, участвовавших в заседании, к проекту общественных деятелей примкнули Философов (принципиальный либеральный деятель), князь Оболенский (у которого либерализм часто был средством для личных целей) и еще один или два деятеля, не помню, кто именно. Оба проекта затем обсуждались в особом совещании под председательством Государя, в котором кроме министерства, членов Государственного Совета, присутствовавших в комитет министров, Государем были приглашены некоторые Великие Князья (помню Михаил Александрович), еще некоторые члены Государственного Совета архи-консервативного направления (Стишинский, Горемыкин, граф Игнатьев и еще некоторые), а также общественные деятели по моему указанию: Шипов, Гучков, барон Корф и граф Бобринский. Первые двое, конечно, должны были поддерживать проект общественных деятелей, а вторые двое – я рассчитывал, будут высказываться против – граф Бобринский потому, что он горячо и убежденно высказывался против в заседании комитета

министров, а барон Корф, как земец весьма умеренных взглядов, а к тому же известный Императрице (а следовательно, и Императору) по благотворительной деятельности.

Проект общественный и правительственный отличались тем, что второй исходил из начал Булыгинского закона, причем нисколько не трогал всего, что касалось крестьянских выборов, а только расширил закон привлечением к выборам деятелей так называемых вольных профессии, квартирантов и рабочих. Первый же проект, т. е. проект общественных деятелей, делал значительно больший шаг к идеалу того времени кадетов, т. е. к всеобщим прямым, равным и тайным выборам, иначе говоря, к так названной, четыреххвостке (вероятно, потому, что осуществление этого простого проекта было бы наказанием имущих и сильных кнутом в четыре конца).

Его Величество, открыв заседание и после моих кратких объяснений, в которых я старался быть возможно более объективным, обратился к общественным деятелям и, к моему удивлению, не только Шипов и Гучков, но и граф Бобринский и барон Корф высказались за проект общественных деятелей, безусловно его поддерживая.

Я ранее говорил Государю, что двое будут поддерживать проект, а двое, вероятно, возражать, поэтому Его Величество был удивлен речами Корфа и особенно графа Бобринского.

После того, как общественные деятели высказались, Государь прервал заседание и затем отпустил этих деятелей. После заседания возобновилось без них. Во время перерыва я подошел к графу Бобринскому и недоумевающе спросил его:

– Как же вы, граф, защищали проект, против которого вы так недавно горячо возражали?

На это он мне ответил:

– Ваше Сиятельство, после заседания комитета министров я пробыл в деревне, видел много народу и пришел к убеждению, что теперь никакой проект Россию не удовлетворит, кроме крайне демократического, а потому я и поддерживал проект общественных деятелей.

Затем заседание возобновилось, несколько членов говорили за проект общественных деятелей, а большинство за правительственный, но дело не было решено. Я видел, что Его Величество колебался.

На другой день было какое-то торжество, я видел Императрицу и заговорил с Ней об этом деле, высказав, что Государь сделает ошибку, согласившись на крайний проект. Это единственный раз, когда я обратился к Ее Величеству по вопросам государственным, рассчитывая на Ее влияние. Заседание опять возобновилось, некоторые члены говорили за проект общественных деятелей, а большинство опять за правительственный проект, в том числе Таганцев и Сабуров, которые, вообще, не без основания, считались и считаются культурными либералами.

Мне пришлось опять говорить, причем, стараясь быть возможно объективнее и указывая на преимущества и недостатки обоих проектов, я все-таки высказывался за правительственный, т. е. мой проект. В результате Государь сказал, что Он принимает и утверждает правительственный проект. Когда этот закон был обнародован, большинство, поскольку общественное мнение выражалось в прессе, находило его недостаточно всеобщим и вообще неудовлетворяющим современным течениям общественного и народного сознания. А затем, когда начались выборы и увидели, что и этот закон дает таких представителей, которые будут выражать тенденцию «против сильных», а равно высказывается за широкое понимание акта 17 октября и когда начали сознавать, какие же выборы получились бы, если бы был принят еще значительно более демократически проект общественных деятелей, то тогда поняли, что правительственный проект представляет максимум той демократичности, которая по тем временам была возможна.

(* Шипов и Гучков даже по проекту правительственному в Государственную Думу не попали. Шипов (человек принципиальный и политически несомненно честный) был избран

от земцев в Государственный Совет. Гучков не был выбран и во вторую думу. Для того, чтобы он мог попасть в 3-ю думу, нужно было, чтобы явился такой господин, как Столыпин, который, начихав на основные законы, ввел новый выборный закон, который основан на том начале, чтобы давать в думу большинство сильных, т. е. такое большинство, которое всегда будет плясать под дудочку правительства, если только таковое не будет состоять из кретивов.

Гучков же даже по этому новому выборному закону 3 июня рисковал не попасть в думу и, так как Столыпин очень хотел, чтобы Гучков попал, то приказал для этой цели бывшему градоначальнику генералу Рейнботу пустить в ход подкуп, что Рейнбот и исполнил, как это было обнаружено на судебном следствии по делу генерала Рейнбота в Москве, когда он был без достаточных оснований устранил Столыпиным от должности и предан суду; если не считать достаточным основанием то, что одно время Рейнбот был в большой милости у Государя, а потому мог явиться в будущем конкурентом Столыпину. Гучков, будучи таким образом выбран в думу, пошел на служение г. Столыпину, а теперь обратился в тип «чего изволите», а потому сделался серьезным пайщиком «Нового Времени». Точно так и граф Бобринский попал только в 3-ю думу по Столыпинскому закону 3-го июня, закону – собирателю «сильных».

Графа Бобринского я мало знаю, знаю, что он сначала служил в лейб-гусарском полку, а затем вышел в отставку и сделался таким красным зайцем, что Государь, когда был в Ялте в девяностых годах, не пожелал принять Бобринского вследствие его левых выходов. Затем смута 1904-5 годов, погрозившая сильно карманам богатых вообще и больших землевладельцев в частности, по-видимому сбила почтенного графа с панталыка. Попад в 3-ю Думу под знаменем 17 октября, он стал там затем националистом и нередко произносить речи а la Пуришкевич (балаганно-реакционные).

Далее говорят и, кажется, не без основания, что за его – графа Бобринского – хорошее поведение он получил из государственного банка ссуду в несколько сот тысяч рублей, без которой его дела потерпели бы полное крушение.

Во всяком случае почтеннейший граф человек очень увлекающейся и неустойчивый.

Его отец, граф Алексей Бобринский, при Александре II был министром путей сообщения и я служил под его начальством. Это был благороднейший и честнейший человек, но тоже не без странностей. За свое благородство он угодил, будучи министром путей сообщения, на гауптвахту за то, что не потрафил княгине Долгорукой (Юрьевской) в ее денежных аферах, а затем вышел в отставку и более не являлся в столицу. Вероятно, это обстоятельство несколько повлияло на водворение в его сыне микробов либерализма, но либерализма графского, который улетучился сейчас, как только этот аристократический либерализм встретился с либерализмом голодного желудка русского народа. Вообще, после демократического освобождения в 60-х годах русского народа Самодержавным Императором Александром II с принудительным возмездным наделением крестьян землею, между высшим сословием Российской Империи появился в большой дозе западный либерализм. Этот либерализм выражался в мечтах о конституции, т. е. ограничении прав Самодержавного Государя Императора, но в ограничении для кого? – для нас, господ дворян.

Когда же увидели, что в России, кроме Монарха и дворян, есть еще народ, который также мечтает об ограничении, но не столько Монарха, как правящего класса, то дворянский либерализм сразу испарился. Впрочем, в известной степени почти везде на западе было тоже: сначала высшее сословие ограничивало Монарха, а потом народ ограничивал это сословие, включая сюда денежную буржуазию. В настоящее время последняя стадия этого процесса резко проявляется в Англии. *

Когда выборный закон был объявлен, то у меня был граф Гейден (также один из видных общественных либеральных деятелей того времени) и между прочим сказал:

– Как хорошо, что прошел ваш выборный закон, а то, если бы прошел законопроект общественных деятелей, то получилась бы такая дума, которую пришлось бы сейчас закрыть.

Графа Гейдена я встречал, как управляющего канцелярией главноуправляющего комиссии прошений генерал-адъютанта Рихтера; он на меня произвел впечатление честного, порядочного и образованного чиновника-сухаря и я недоумевал, когда в 1904–1905 годах он вдруг явился одним из столпов общественных деятелей, стремившихся ввести конституцию. Все таки справедливость требует сказать, что граф Гейден ранее других предусмотрел, что «народ идет» и, попав в 1-ю Думу, он держал себя в высшей степени уравновешено и благородно, будучи на правой стороне.*

Глава тридцать восьмая

Беспорядки и карательные экспедиции

* Я вступил в управление Империей при полном ее если не помешательстве, то замешательстве. Ближайшими признаками разложения общественной и государственной жизни было общее полное недовольство существующим положением, что объединило все классы населения; все требовали коренных мер государственного переустройства, но в мечтах различных классов желательный преобразования представлялись различно.

Высший класс (дворянство) был не прочь ограничить Самодержавного неограниченного Государя, но только в свою пользу – создать аристократическую или дворянскую конституционную монархию; купечество – промышленность мечтало о буржуазной конституционной монархии, гегемонии капитала, об особой силе русских Ротшильдов; интеллигенция, т. е. люди всевозможных вольных профессий – о демократической конституционной монархии с мыслями *in spe* перейти к буржуазной республике (на манер Франции) и рабочий класс мечтал о большем пополнении желудка, а потому увлекался всяческими социалистическими государство-устроительствами; наконец, большинство России – крестьянство – желало увеличения земли, находящейся в их владении и уничтожения произвола распорядка им как со стороны высших поместных классов населения, так и со стороны всех видов полиции, начиная от урядника и жандарма и переходя через земского начальника до губернатора, его мечта была Самодержавный Царь с идеей – Царь для народа, но с признанием начал великого царствования Александра II (освобождение крестьян с землею), нарушивших священную собственность; оно склонялось к идее конституционной монархии с социалистическими началами партии трудовиков, т. е. к принципу, по которому труд, и преимущественно физический, дает право на все.

Во всяком случае Все желали перемены, все вели атаку на Самодержавную власть, фигурально выражаясь, на бюрократический строй. 17 октября внесло полный раздор в лагерь противников Самодержавия, раскололо общество на партии, внесло между ними междоусобие и многие уже вместо нападения на Самодержавную власть, на бюрократию, стали искать у нее поддержку против своих противников. Это положение держится и по настоящее время.

Наиболее смущавшими власть явлениями были анархические покушения на представителей власти, беспорядки во всех высших и даже многих средних учебных заведениях, сопровождавшиеся различными эксцессами, беспорядки в войсках, крестьянские и рабочие беспорядки, сопровождавшиеся уничтожением имущества и нанесением увечья и смерти, и забастовки.

8-го октября 1905 года прекратилось движение на железных дорогах, примыкавших к Москве, 10 октября стачка охватила харьковский узел железных дорог и 12 октября стал петербургский узел. В промежуточные и последующие дни прекратилось движение на прочих железных дорогах. К 17 октября почти вся железнодорожная сеть с телеграфом замерли. К этому времени приостановили работы почти все фабрики и заводы в крупных промышленных центрах России. В С. Петербург фабрики и заводы начали бастовать с 12 октября, а к 15 октября деловая жизнь столицы вовсе прекратилась.

В это время в Петербурге играл роль совет рабочих депутатов. Мысль об учреждении этого совета зародилась в начале октября и путем прессы стала пропагандироваться среди рабочего населения. 13 октября состоялось первое заседание совета в технологическом институте, на котором было принято обращение к рабочим, призывавшее к забастовке

и к выставлению крайних политических требований. Второе заседание последовало там же 14 октября. В этом заседании председателем совета был избран помощник присяжного поверенного Носарь из евреев, который поступил для пропаганды ткачем фабрики Чешера и там носил фамилию Хрусталева.

Почти все петербургские рабочие начали беспрекословно подчиняться решениям совета. 15 октября состоялось заседание совета опять таки в технологическом институте, причем в совете принимали живейшее участие некоторые профессора и другие деятели вольных профессий. 16 октября, вследствие опубликования порядка открытия собрания, здания учебных заведений были закрыты для посторонней публики, заседание совета состоялось 17 октября в зале вольно-экономического общества. Число членов совета уже значительно превысило 200 человек. В этом собрании был избран исполнительный комитет совета в составе 30 человек. 17 октября вышел исторический манифест, и того же числа по очереди в различных типографиях начали печатать «известия совета рабочих депутатов», орган чисто революционного характера, который, между прочим, печатался в типографиях далеко не революционных органов печати.

Одним словом, к этому времени управления Трепова-Горемыкина-Коконцева и прочей братии в стране водворился полный революционный кошмар. Фактически я вступил в управление 18 октября и мог сформировать министерство, которое было способно распознать и охватить положение дела в стране, как об этом мною говорилось ранее, только через довольно продолжительное число дней. К 17 октября совет рабочих во главе с Носарем представлял в Петербурге на первый взгляд довольно значительную силу, так как его слушалась рабочая масса и в том числе рабочие типографий. Это последнее обстоятельство имело особое значение, так как таким образом газеты подпали в известной степени в зависимость от совета, ибо от рабочих зависело не только своевременное издание, но даже издание или неиздание газеты. К этому обстоятельству особенно чувствительно отнесся А. С. Суворин, редактор-издатель «Нового Времени», которое представляло собою прежде всего выгодное коммерческое предприятие и уже издавна трактовалось с этой точки зрения, несомненно, талантливым публицистом и русским человеком, который, по мере наживы денег и увеличения миллионного состояния, все более и более жертвовал идеями и своими талантами для толстеющего кармана. Человек, который начал свою публицистическую карьеру с грошом в кармане, имея уже, как оказалось после смерти его, состояние в пять миллионов рублей, за несколько месяцев до смерти сетовал на Россию в том отношении, что вот сколько он работал и, если это было бы в Америке, то он нажил бы десятки и десятки миллионов, а что он нажил только каких-то 2–3 миллиона.

После манифеста 17 октября началось разложение общественных русских масс, сознательно или несознательно, т. е. без учета последствий желавших и требовавших фактического уничтожения неограниченного Самодержавия. 18 октября совет рабочих собрался и принял решение предложить всеобщую забастовку, так как манифест не удовлетворяет рабочие массы.

Тем не менее 19 октября забастовка в Москве и других пунктах начала прекращаться и железные дороги возобновили движение. Под этим влиянием совет рабочих депутатов уже 19 октября постановил о прекращении с 21 октября забастовки. После 17 октября происходили на улицах стычки революционеров с войсками, полицией и антиреволюционерами, при этом было убито несколько человек и, между прочим, ранен в голову около технологического института профессор петербургского университета Тарле. Совет объявил демонстративные похороны убитых рабочих, но правительство не допустило демонстраций.

Мною после 17 октября было отдано распоряжение, чтобы допускались всякие спокойные шествия по поводу 17 октября, но при малейшем бесчинстве и нарушении спокойствия демонстрации были подавляемы. Демонстрация по поводу похорон имела явную цель нарушить покой, а потому была недопущена. Вообще, в Петербурге через несколько дней после 17 октября водворилось спокойствие и в течение шестимесячного моего пребывания во главе правительства я не вводил никаких экстраординарных мер по управлению Петербургом и его окрестностями, не было ни одного случая применения смертной казни. Все это было введено впоследствии, когда Столыпин начал фактически уничтожать 17 октября. В других же местностях России по поводу демонстраций 17 октября происходили смуты. Так в Кронштадте вспыхнули беспорядки 26-го и были подавлены 28 октября.

Кронштадт, как город морского ведомства, был особенно революционирован. Смута, более нежели в других частях войск, внедрилась между моряками, а потому еще до 17 октября военными пронунциаментами выражалась в среде моряков в Севастополе и отчасти в Николаеве и Кронштадте. Этот революционный дух внедрился между моряками вследствие дурного управления морским начальством и вследствие того, что вообще в моряки поступают более развитые части населения, легче подвергающиеся революционированию, а тогда этому процессу подвергались громадные массы населения.

Затем, после 17 октября, во всей России появились демонстрации радости, которые вызывали контрдемонстрации со стороны шаек так называемых черносотенцев. Они были названы черносотенцами вследствие их малочисленности и были составлены преимущественно из хулиганов, но, так как они находили в некоторых местах поддержку со стороны местной власти, то скоро начали возрастать и дело иногда переходило в погромы преимущественно, если не исключительно, евреев.

С другой стороны, так как крайние левые также остались недовольны недостаточной демократичностью 17 октября и тоже бесчинствовали и не встречали достаточного нравственного отпора со стороны всей либеральной части общества, то вскоре и хулиганы правые, т. е. черносотенцы, начали получать поддержку в административных властях, а затем и свыше.

Великий Князь Николай Николаевич, вырвавший с револьвером, грозя себя застрелить, манифест 17 октября, уже через несколько недель после 17 октября конспирировал с известным вождем черносотенных хулиганов, доктором Дубровиным, относительно принятия мер для обезврежения 17 октября.

Покуда же я был во главе правительства, я старался этого не допускать, после моего ухода наступило время Столыпина, а затем переворот 3-го июня, и тогда Столыпин совсем уперся на черносотенцах и на Дубровине, а когда в 3-й Дум явилась партия, так называемая, октябристов, которая играла у Столыпина роль, которую сперва играли черносотенцы, то брат Столыпина, публицист, содержимый «Новым Временем» преимущественно в качестве брата премьера, не стеснялся в газете сказать по адресу Дубровина: «Мавр, ты сделал свое дело, теперь ты мне больше не нужен, уходи вон» (подлинную фразу Шекспира не помню).

Немедленно после 17 октября во многих местах местные администраторы совсем спавали, а потому допустили беспорядки и погромы вследствие трусости и растерянности. Так было в Москве с генерал-губернатором Дурново, в Киеве с генерал-губернатором Клейгельсом, в некоторых других пунктах, и особенно в Одессе, где градоначальником был Нейдгардт, мною уволенный и затем выплывший на поверхность административного влияния при Столыпине в качестве брата его жены. Затем еще при генерале Трепове и Рачковском завели при департаменте полиции типографию для фабрикаций погромных прокламаций, т. е. для науськивания темных сил преимущественно против евреев.

Эта деятельность мне была открыта Лопухиным (бывшим директором департамента полиции, ныне находящемся в ссылке в Сибири) и мною ликвидирована. Но на местах она продолжалась, так при мне в Гомеле был устроен погром евреев посредством провокации жандармской полиции и, когда я открыл эту позорную историю и довел до света, то на мемории по этому делу, конечно, не без влияния министра внутренних дел Дурново, Его Величество соизволил написать, что эти дела не должны быть доводимы до Его сведения (вероятно, по маловажности?)...

После прекращения забастовки в Петербурге с 27-го октября рабочие некоторых заводов начали вводить насильственно восьмичасовой рабочий день. Совет рабочих чувствовал, что он теряет свой престиж между рабочими, и ноября он постановил привести в исполнение вторую забастовку, выставляя необходимость этой меры, как демонстрации против введения в Царстве Польском военного положения и действия правительства по подавлению беспорядков в Кронштадте. Я узнал об этом ночью и дал рабочим через администрацию нескольких заводов телеграмму, предупреждая рабочих, чтобы они перестали слушаться лиц, явно ведущих их к разорению и голоду. В телеграмме этой я употребил, обращаясь к рабочим, необыденное в подобных случаях от сановника и главы правительства слово, что я им даю совет товарищеский. Это слово подхватили некоторые газеты, в том числе и «Новое Время», и начали над ним издеваться, а вожаки рабочих, имея в виду влияние, которое моя телеграмма произвела на рабочих, совсем освирепели.

Тем не менее, забастовка не удалась, рабочие перестали слушать совет и своих вожаков и поэтому 5-го ноября совет рабочих постановил прекратить забастовку.

Вообще, с 7-го ноября везде прекратились забастовки и Государь Император 7-го ноября, между прочим, мне писал: «Радуюсь, что бессмысленная железнодорожная стачка окончилась, это большой нравственный успех правительства».

Со своей стороны добавлю, что это был непосредственный результат 17-го октября, и что забастовки эти и все беспорядки были заведены до 17-го октября, когда я был не у власти во время министерства Трепова-Булыгина-Коковцева и *tutti quanti*.

Когда фабриканты увидели, что правительство после 17-го октября приобретает нравственный авторитет и силу, то они объявили рабочим, что не будут платить им деньги за прогульные дни и рассчитывать их в случае неподчинения установленному рабочему времени, и они начали широко применять эту меру. Тогда рабочие увидели, что их советники им советовали неразумно, что им на своих плечах или, вернее, на желудках своих и своих семейств приходится расплачиваться за эти советы. Совет рабочих 13 ноября снова обсуждал предложение объявить забастовку, но она была отвергнута; точно также совет был вынужден постановить «временно» прекратить захватное введение восьмичасового рабочего дня. С этого времени значение совета рабочих депутатов начало стремительно падать, а революционная организация проявлять разложение.

Тогда я нашел своевременным арестовать Носаря 26 ноября. Вместо Носаря был выбран советом президиум из трех лиц, совет не собрался, а собрался лишь секретно президиум. Я имел намерение арестовать Носаря ранее, но мне отсоветовал Литвинов-Фалинский (ныне управляющий одним из отделов [департаментов] главного управления торговли и промышленности), находя, что нужно выждать, когда рабочие будут рады этому аресту, т. е. когда Носарь и Совет потеряют всякий престиж, дабы напрасно не иметь столкновения, может быть, и кровавого с рабочими. Этот совет Литвинова был по моему мнению вполне благоразумным.

После ареста Носаря я распорядился арестовать весь совет, что Дурново исполнил лишь 3 декабря. Дурново опасался, что, если он начнет арестовывать членов совета врознь,

то они разбегутся, и ожидал собрания. Совет же боялся собраться, а как только он собрался 3 декабря в Вольно-Экономическом Обществе, он был арестован в числе 190 человек.

После ареста Носаря совет возбуждал вопрос о забастовке, как протесте против ареста, но это осталось без всякого влияния на рабочих. Таким образом окончилась история с советом рабочих и его вожаком Носарем, так раздутая прессою, так как эти забастовки, касаясь типографских рабочих, касались и ее карманов.

Конечно, между деятелями прессы было много лиц, принципиально сочувствовавших «революции рабочих», но это были бессеребрянные журналисты, большею частью фантазеры. Во все времена всегда революция рождает таких идеалистов-фанатиков.

Со времен 1905 года более серьезных забастовок в России не было. Бывшая революционная забастовка научила кой чему рабочих, а именно, что нужно очень скептически относиться к являющимся со стороны вождям, вроде Носаря, часто ведущим их к большим потерям. Она научила и промышленников, которые несколько улучшили положение рабочих. Она научила и правительство, которому, наконец, удалось, несмотря на возражения, хотя и скрытые за спиной других, некоторых представителей промышленности в Государственном Совете и Думе провести в этом году закон о страховании рабочих, закон, который был предрешен в Государственном Совете около двадцати лет тому назад, когда я был министром финансов, и все время встречал скрытую obstruction. Но, по-видимому, она не научила жандармскую и секретную полицию, так как жандармский офицер, некий Терещенко (что-то в этом роде), в этом году расстрелял более двухсот человек рабочих на Ленских приисках, рабочих, которые добивались улучшения своего невозможного положения путями мирными и после многолетнего испытания их терпения. По-видимому, вся местная администрация этого богатейшего золотопромышленного общества была прямо или косвенно на содержании общества и мирволила его эксплуататорским аппетитам.

Министр же внутренних дел Макаров (которого при дворе зовут честным нотариусом), представив по этому случаю в Думе самые натянутые и фактически неверные объяснения, закончил свою речь, оправдывая совершенные полицией массовые убийства, безобразным восклицанием: «Так всегда было, так и будет впредь».

Конечно, не нужно быть пророком, чтобы сказать, что если так было (хотя это было раз при истории Гапона, созданной министерством внутренних дел Плеве), то так долго не будет впредь, ибо такой режим, где подобные боины возможны, существовать не может, и 17 октября есть начало конца такого режима. Несомненно, что никакое правительство не может допустить бунта и неповиновения закону. В этом случае проявление силы должно быть подавлено силою же, но правительство не может бездействием власти, подкупным мирволением эксплуататорских бессовестных инстинктов, провокаторством возбуждать рабочих и доводить их до забвения и отчаяния. Такое правительство в XX веке долго существовать не может, оно искрошится.

Кроме забастовки рабочих на фабриках и заводах и железных дорогах, в ноябре 1905 года разразилась совершенно неожиданно забастовка на правительственном телеграфе. Эта забастовка причинила наибольший ущерб действиям правительства, так как лишала правительство возможности делать распоряжения. Замечательно, что министр внутренних дел Дурново, который ранее долгое время управлял почтами и телеграфом, совсем этой забастовки не ожидал.

Что касается беспорядков в армии и флоте, то я уже по этому предмету имел несколько раз случай говорить. Они начались во время войны вследствие крайней нерегулярности оной и постыдного ее ведения. Особенно резко они выражались во флоте. Крейсера черномор-

ского флота, взбунтовавшись, бомбардировали Одессу. Один крейсер дезертировал в Румынию. Этих фактов достаточно, чтобы судить о состоянии флота.

В сухопутных войсках вся мобилизация происходила при полном неподчинении новобранцев начальству. В некоторых случаях происходили возмутительные сцены нарушения элементарных правил воинской дисциплины. Революционный дух сперва проник в войска, оставшиеся в России, а потом перескочил в действующую армию. После 17-го октября настроение в войсках продолжало быть беспокойным вследствие того, что не отпускали призванных на время войны.

Я настоял на их роспуске, так как призванный элемент развращал здоровый организм войсковых частей. Эта мера значительно уменьшила количество войск в России, и без того значительно уменьшенное вследствие ухода большей части войск за Байкал в действующую армию, но зато положила предел дальнейшему революционированию армии.

После 17-го октября происходили некоторые беспорядки в одном из полков, находившемся в Москве (вообще войска, оставшиеся в Москве, были очень распущены), а равно в Петербурге с одним морским батальоном. Об этом я имел случай говорить ранее. Происходили также беспорядки в черноморском флоте, и вследствие бунта в одной части, некоторые моряки и в том числе лейтенант (или гардемарин, не помню) Шмидт был расстрелян. По поводу расстреляния Шмидта, когда его осудили, то ко мне явился его защитник, известный присяжный поверенный и затем член Думы (депутат первой Думы от Одессы, Пергамент) и честным словом уверял меня, что Шмидт помешанный и что его нужно не казнить, а поместить в сумасшедший дом. Так как все это дело касалось морского министерства, Шмидт судился на точном основании общих морских законов, то я счел возможным лишь довести заявление его до сведения Его Величества. Государь изволил мне сообщить, что Он уверен, что, если бы Шмидт был сумасшедшим, то суд это констатировал бы.

В общем, после 17-го октября в войсках все успокоилось. Должен сказать, что Государь, с своей стороны, делал все от Него зависящее, чтобы влиять на это успокоение, а именно, Он все время старался и ныне старается общаться с войсками и не стеснялся делать *frais de sa personne*. К сожалению, мне кажется, что и теперь у нас нет правильного военного управления и нет в достаточном числе надежных военачальников на высших постах и едва ли существующая система способствует тому, чтобы соответствующие военачальники обнаруживались. Но для того, чтобы говорить об этом, нужно было бы войти в обширные объяснения, которые здесь были бы не у места.

Что касается крестьянских беспорядков, то скажу о них только несколько слов. Бороться с крестьянскими беспорядками было очень трудно потому, что не было ни в достаточном числе сельской полиции, ни войска. Что касается полиции, вообще, и, в частности, сельской, то за время шестимесячного моего управления была значительно увеличена и организована, как городская наружная полиция, так и сельская созданием конной полицейской стражи. Но в самый разгар беспорядков полиции не было в некоторых местах, и даже в Москве полиция не была вооружена. Полицейские приходили на посты с одним револьверным чехлом и передавали друг другу бессменный револьвер, однозарядный и часто совсем не стреляющий. Войск во многих местах совсем не было. Это происходило отчасти от того, что войска были на Дальнем Востоке, а отчасти от того, что вообще дислокация войск в России со времени графа Милютина была такова, что войска были стянуты на границы, а внутри России их почти не было. Это в сущности и должно быть, если иметь в виду, что войска служат для борьбы с внешним врагом, а не населением.

(* После моего ухода Столыпин бросил мысль, что для спокойствия в России и во избежание крестьянских беспорядков нужно, чтобы было больше войск внутри России, дабы усмирить крестьян войсками. *).

Эта мысль была подхвачена и нашлись военные, которые начали уверять и писать записки, что для военных целей желательно отодвинуть войска от границы. Под страхом внутренних волнений эта мысль года два тому назад и была приведена в исполнение. Со времен Милютина более тридцати лет сосредоточивали все военные силы на западной границе (преимущественно в Царстве польском). А тут вдруг взяли, да значительное число этих войск отодвинули в центр России. Франция сделала по этому поводу гримасу, но ее начали уверять, что ей выгодно, и она сделала вид, что этому верит, а Вильгельм, конечно, потирает себе руки. Это большая бескровная победа немцев...

Таким образом, центральная и восточная Россия были почти совсем оголены от войск. Явилась мысль, которую я находил во всяком случае не бесполезною, чтобы в губернии с наибольшим брожением были командированы генерал-адъютанты Его Величества, дабы они своим присутствием могли повлиять на успокоение крестьян, а с другой стороны, ободрить местную администрацию и, в крайности, принять экстраординарные меры.

Это были лица, посылаемые от имени Его Величества. Таким образом были посланы генерал-адъютант Сахаров в Саратовскую губернию, генерал-адъютант Струков в Тамбовскую и Воронежскую, а генерал-адъютант Дубасов в Черниговскую и Курскую. Бедный Сахаров, препочтеннейший, прекрасный, честный человек, но неспособный ни на какие жестокости, был убит в кабинете губернатора Столыпина (ныне премьера), которого в то время анархисты не думали убивать, так как он тогда считался либеральным губернатором, во всяком случае не жестоким.

В сущности говоря, Сахаров и был послан в Саратовскую губернию, как губернию объятую смутою, с которой не мог справиться Столыпин. Интересно было бы знать, как бы теперь отнеслись к Столыпину анархисты, теперь, после того, как он перестрелял и перевешал десятки тысяч человек и многих совершенно зря, если бы он не был защищен армиею сыщиков и полицейских, на что тратятся десятки тысяч рублей в год.

Струков ничем себя в эту поездку не проявил. Он человек несомненно высоко-порядочный, хороший кавалерист, но бесцветный. Ко мне поступали лишь донесения, что он сильно пил и даже в компании телеграфистов, что вынудило министра внутренних дел Дурново войти относительно Струкова в словесные сообщения с министром Двора, начальником главной квартиры бароном Фредериксом.

Дубасов действовал в Черниговской и Курской губерниях с кучкою войск весьма энергично и не вызывал нареканий ни с чьей стороны. Хотя крестьянские волнения на него, видимо, произвели сильное впечатление, так как в бытность его несколько дней, во время этой командировки в Петербург, он мне убежденно советовал провести закон до созыва Государственной Думы, по которому все земли, которые крестьяне насильно захватили, остались бы за ними, и на мое возражение против такой меры он мне говорил: «Этим крестьян успокоите и помещикам будет лучше, так как в противном случае они, крестьяне, отберут всю землю от частных землевладельцев».

Я привожу этот факт как иллюстрацию того настроения, которое тогда торжествовало в самых консервативных сферах.

Никто Дубасова не заподозрит ни в физической, ни моральной трусости. Если он предлагал такую крайнюю и несвоевременную меру, то потому, что был убежден в ее целесообразности и неизбежности.

Дубасов, конечно, себя отлично держал в Черниговской и Курской губерниях, где крестьянские беспорядки достигли едва ли не наибольших пределов. Он всюду появлялся сам с горстью войск, справлялся с бунтующим крестьянством, отрезвлял их и достиг почти полного успокоения.

Когда я вступил в управление, армия в России была материально и нравственно совершенно расслаблена. Материально она была расслаблена не только вследствие того, что более миллиона солдат находились вне России, но и потому, что то, что осталось в России, даже гвардейские петербургские части, были обобраны, там были взяты солдаты, там офицеры, там специальные части, наконец, обобраны части почти везде интендантские, артиллерийские, крепостные и медицинские запасы и даже вещи, находившиеся на руках. Нравственно потому, что ныне, при общей воинской повинности, недовольство в России не могло не коснуться и войска, куда также проникали самые крайние идеи, оправдывающие эксцессы до революционных актов включительно.

Оскорбление, нанесенное разгромом нашей армии, вследствие ее неготовности в безумной и ребячески затеянной войне, было, конечно, еще более чувствительно для всякого военного, нежели для лиц, не имеющих чести носить военный мундир.

После ратификации Портсмутского мирного договора, с объявлением мира, согласно закону, надлежало отпустить тех нижних чинов и вообще военных, которые призваны были под знамена только на время войны, а тот элемент был наиболее неспокоен и приводил в брожение, как армию, находившуюся за Байкалом, так и военные части, оставшиеся в России.

Мне предстояло высказаться немедленно после 17-го октября, какое принять решение относительно всех воинских чинов, которые по закону должны были бы быть отпущены — отпустить ли их немедленно, или в виду неопределенного положения, ожидать возвращения, хотя части действовавшей армии. Так как мне было очевидно, что вновь набранный военный элемент на время войны, вследствие того, что он не отпускается с окончанием оной, служит самым главным проводником революционных идей в армии, то я не только высказался за то, чтобы этот элемент был отпущен, но просил, кроме того, сделать это скорее.

Как только все офицерские и нижние чины, набранные на время войны, были отпущены, сравнительно небольшая часть армии, оставшаяся в России, еще значительно численно уменьшилась, но зато избавилась от разлагающего ее состава, который мог привести к непрерывным военным бунтам.

Таким образом, Россия была почти оголена от войск; сравнительно достаточное количество войск было лишь в Варшавском, Кавказском, Петербургском военных округах, но командующие войсками этих округов войск не давали, или давали с крайними затруднениями, что отчасти объясняется весьма тревожным положением на Кавказе и в Царстве Польском.

Внутри России совсем войск не было, причем войска везде были совершенно дезорганизованы совокупностью сказанных причин. Военное начальство само не знало, сколько где войск.

Я помню, например, такие случаи: вследствие крестьянских беспорядков, после долгих усиленных требований, наконец, куда-либо высылается батальон или рота солдат. Тем не менее, требование местной администрации продолжается. Мы телеграфируем, что ведь туда выслан батальон или рота. Отвечают: никакого батальона, или роты не приходило, а пришло 48 или 12 человек. Говоришь военному министру. Он отвечает: как оказывается, батальон или рота теперь находится именно в таком составе впредь до возвращения соответствующих частей из действующей армии, или ежегодного обыкновенного призыва новобранцев. Таким образом воинские части, находившиеся в России, и не принимавшие участия в войне, потеряли значительную часть своего состава, точно были на войне и участвовали в сражениях, причем военное министерство не знало, какая часть оказалась в каком именно действительном составе. Мне объясняли, что все это произошло от крайне необдуманных распоряжений генерал-адъютанта Куропаткина не столько, как главнокомандующего, но преимущественно, как военного министра. Он сначала войны не ожидал, хотя возникнове-

нию ее способствовал, поэтому должен был собрать армию внезапно, а затем рассчитывал, что для войны нужно будет только 300–400 тысяч человек. Поэтому сбор армии производили без всякой заранее обдуманной системы. Думали немедленно потушить пожар маленькою струею воды, воду все подавали и подавали, а пожар именно вследствие малой, хотя продолжительной струи, к тому же пускаемой бездарным брандмейстером, не потушили. Мне его пришлось потушить в Портсмуте.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.